

Роберт Льюис Стивенсон ПОХИЩЕННЫЙ КАТРИОНА

ПОХИЩЕННЫЙ

Записки о приключениях Давида Бальфура в 1751 году, о том, как он был похищен и потерпел крушение; о его страданиях на пустынном острове; о его странствовании по диким горам; о его знакомстве с Аланом Бреком Стюартом и другими выдающимися якобитами шотландской горной области; и обо всем, что он претерпел от рук дяди своего Эбenezера Бальфура, ложно именовавшегося владельцем Шооса, писанные им самим и ныне изданные Робертом Льюисом Стивенсоном.

Посвящение

Дорогой мой Чарлз Бакстер! Если вы когда-нибудь прочитаете этот рассказ, то, вероятно, зададите себе больше вопросов, нежели я мог бы дать ответов. Так, например, вы спросите: каким образом убийство в Аппине пало на 1751 год; каким образом Торренские скалы придвинулись так близко к Эррейду или почему опубликованный отчет об этом деле совсем ничего не говорит обо всем, что касается Давида Бальфура? Ведь эти орехи мне не по зубам. Но если вы меня спросите о том, виновен ли Алан или невиновен, то я полагаю, что могу постоять за свой рассказ. Вы могли бы сами убедиться в том, что местное предание в Аппине и донднесь явно высказывается в пользу Алана. Если вы наведете справки, то можете узнать, что потомки «другого человека», того, что стрелял, и теперь еще существуют в той местности. Но можете спрашивать сколько угодно, а имени этого «другого» вы не услышите:

горцы свято соблюдают эту тайну, уважая вообще всякие тайны, и свои собственные и своих сородичей. Я могу с успехом оправдывать один пункт, но должен признать, что другой пункт оправдать невозможно; лучше уж признаться сразу, как мало интересует меня желание быть точным. Я пишу книгу не для школьной библиотеки, а для чтения зимними вечерами, когда занятия в классах уже кончены и приближается время сна. Честный Алан, который в свое время был лихим воякой, в своем новом перерождении выведен мною не с каким-либо особым злодейским умыслом, а только затем, чтобы отвлечь внимание какого-нибудь юного джентльмена от Овидия и обратить его хоть ненадолго на горную Шотландию и на минувшее столетие и отпустить его в постель в таком настроении, чтоб в его снах появились кое-какие заманчивые образы.

От вас, мой дорогой Чарлз, я не могу и требовать, чтоб этот рассказ вам пришелся по вкусу. Но он, может быть, понравится вашему сыну, когда он подрастет; ему будет приятно

найти имя своего отца на форзаце книги. В то же время мне отрадно начертать это имя здесь в память о многих днях, большей частью счастливых, хотя иногда и грустных, но о которых теперь с интересом вспоминаешь. Если мне кажется удивительным, что я могу бросить взгляд назад сквозь двойное расстояние времени и пространства на приключения нашей юности, то для вас это, быть может, еще удивительнее, как для человека, который ходит по тем же самым улицам и может завтра же отворить дверь старой залы, где мы начали свое ознакомление со Скоттом и Робертом Умчетом и с нашим возлюбленным, но так малоизвестным Мекбином; или пройти в тот уголок, где собирались митинги великого общества I. J. R., где мы пили свое вино и сидели на тех же местах, где когда-то сиживал Берне со своими друзьями. Мне кажется, что я вижу, как вы ходите по этим местам среди белого дня, видите их своими собственными глазами, тогда как для вашего товарища все это может быть

только предметом сновидений. Как прошлое звучит в памяти во время перерывов среди текущих дел и занятий! Пусть же это эхо чаще звучит для вас и будит в вас мысли о вашем друге. Р. Л. С.

Скерривор, Бурнемут.

I. Я отправляюсь в Шоос-гауз

Рассказ о моих приключениях я начну с июньского утра 1751 года, когда в последний раз я запер за собою дверь отчего дома. Пока я спускался по дороге, солнце едва освещало вершины холмов, а когда дошел до дома священника, в сирени уже свистали дрозды и предрассветный туман, висевший над долиной, начинал подниматься и исчезать.

Добрейший иссендинский священник, мистер Кемпбелл, ждал меня у садовой калитки. Он спросил, позавтракал ли я, и, услышав, что мне ничего не нужно, после дружеского рукопожатия ласково взял меня под руку.

— Ну, Дэви, — сказал он, — я провожу тебя до брода, чтобы вывести тебя на дорогу.

И мы молча двинулись в путь.

— Жалко тебе покидать Иссендин? —

спросил он немного погодя.

— Я мог бы вам на это ответить, если бы знал, куда я иду и что случится со мной, — сказал я. — Иссендин — славное местечко, и мне было очень хорошо здесь, но ведь я ничего больше и не видел. Отец мой и мать умерли, и, оставшись в Иссендине, я был бы от них так же далеко, как если бы находился в Венгрии. Откровенно говоря, я уходил бы отсюда очень охотно, если бы только знал, что на новом месте положение мое улучшится.

— Да! — сказал мистер Кемпбелл. — Прекрасно, Дэви. Значит, мне следует открыть тебе твое будущее, насколько это в моей власти. Когда твоя мать умерла, а отец твой — достойный христианин! — почувствовал приближение смерти, он отдал мне на сохранение письмо, сказав, что оно — твое наследство. «Как только я умру, — говорил он, — и дом будет приведен в порядок, а имущество продано (все так и было сделано, Дэви), дайте моему сыну в руки это письмо и отправьте его в Шоос-гауз, недалеко от Крамонда. Я сам пришел оттуда, — говорил он, — и туда же следует возвратиться моему сыну. Он смелый юноша и хороший ходок, и я не сомневаюсь, что он благополучно доберется до места и сумеет заслужить там всеобщее расположение».



— В Шоос-гауз! — воскликнул я.

— Никто не знает этого достоверно, — сказал мистер Кемпбелл. — Но у владельцев этой усадьбы то же имя, что и у тебя, Дэви. Бальфуры из Шооса — старинная, честная, почтенная семья, пришедшая в упадок в последнее время. Твой отец тоже получил образование, подобающее его происхождению; никто так успешно не руководил школой, как он, и разговор его не был похож на

разговор простого школьного учителя; напротив (ты сам понимаешь), я любил, чтобы он бывал у меня, когда я принимал образованных людей, и даже мои родственники, Кемпбеллы из Кильренета, Кемпбеллы из Денсвайра, Кемпбеллы из Минча и другие, все очень просвещенные люди, находили удовольствие в его обществе. А в довершение всего сказанного вот тебе завещанное письмо, написанное собственной рукой покойного.

Он дал мне письмо, адресованное следующим образом: «Эбenezеру Бальфуру, из Шооса, эсквайру, в Шоос-гауз, в собственные руки. Письмо это будет передано ему моим сыном, Давидом Бальфуром». Сердце мое сильно забилося при мысли о блестящей будущности, внезапно открывшейся предо мной, семнадцатилетним сыном бедного сельского учителя в Эттрикском лесу.

— Мистер Кемпбелл, — сказал я прерывающимся голосом, — пошли бы вы туда, будь вы на моем месте?

— Разумеется, — отвечал священник, — и даже не медля. Такой большой мальчик, как ты, дойдет до Крамонда (недалеко от Эдинбурга) в два дня. В самом худшем случае, если твои знатные родственники — а я предполагаю, что эти Бальфуры тебе сродни, — выставят тебя за дверь, ты сможешь через два дня вернуться обратно и

постучать в дверь моего дома. Но я надеюсь, что тебя примут хорошо, как предсказывал твой отец, и со временем ты будешь важным лицом. А затем, Дэви, мой мальчик, — закончил он, — я считаю своей обязанностью воспользоваться минутой расставания и предостеречь тебя от опасностей, которые ты можешь встретить в свете.

При этих словах он немного помешкал, размышляя, как бы поудобнее сесть, потом опустился на большой камень под березой у дороги, с важностью оттопырил верхнюю губу и накрыл носовым платком свою треугольную шляпу, так как солнце теперь светило на нас из-за двух вершин. Затем, подняв указательный палец, он стал предостерегать меня сперва от многочисленных ересей, которые нисколько не соблазняли меня, и убеждать не пренебрегать молитвой и чтением библии. Потом он описал мне знатный дом, куда я направлялся, и дал мне совет, как вести себя с его обитателями.

— Будь уступчив, Дэви, в несущественном, — говорил он. — Помни, что хотя ты и благородного происхождения, но воспитан в деревне. Не посрами нас, Дэви, не посрами нас! Будь обходительным в этом большом, многолюдном доме, где так много слуг. Старайся быть осмотрительным, сообразительным и сдержанным не хуже других.

Что же касается владельца, помни, что он — лэрд.¹ Скажу тебе только: воздай всякому должное. Приятно подчиняться лэрду; во всяком случае, это должно быть приятно для юноши.

— Может быть, — отвечал я. — Обещаю вам, что буду стараться следовать вашему совету.

— Прекрасный ответ, — сердечно сказал мистер Кемпбелл. — А теперь обратимся к самой важной материи, если дозволено так играть словами, или же к нематериальному. Вот пакетец, в котором четыре вещи. — Говоря это, он с большим усилием вытащил пакет из своего бокового кармана. — Из этих четырех вещей первая принадлежит тебе по закону: это небольшая сумма, вырученная от продажи книг и домашнего скарба твоего отца, которые я купил, как и объяснял с самого начала, с целью перепродать их с выгодой новому школьному учителю. Остальные три — подарки от миссис Кемпбелл и от меня. И ты доставишь нам большое удовольствие, если примешь их. Первая, круглая, вероятно, больше всего понравится тебе сначала, но, Дэви, мальчик мой, это лишь капля в море: она облегчит тебе только один шаг и исчезнет, как утренний туман. Вторая, плоская, четырехугольная, вся исписанная,

¹ Лэрд — в Шотландии то же, что лорд в Англии

будет помогать тебе в жизни, как хороший посох в дороге и как подушка под головой во время болезни. А последняя, кубическая, укажет тебе путь в лучший мир: я буду молиться об этом.

С этими словами он встал, снял шляпу и некоторое время в трогательных выражениях громко молился за юношу, отправляющегося в мир, потом внезапно обнял меня и крепко поцеловал; затем отстранил от себя и, не выпуская из рук, долго глядел на меня, и лицо его было омрачено глубокою скорбью; наконец, повернулся, крикнул мне: «Прощай!» — и почти бегом пустился обратно по дороге, которою мы только что шли. Другому это показалось бы смешным, но мне и в голову не приходило смеяться. Я следил за ним, пока он не скрылся из виду: он все продолжал торопиться и ни разу не оглянулся назад. Мне стало ясно, что причиной всего была разлука со мной, и совесть стала сильно упрекать меня; сам я был очень счастлив, уходя из тихой деревенской глуши в большой, шумный дом, где жили богатые и уважаемые дворяне одного со мной рода и имени.

«Дэви, Дэви, — думал я, — видана ли где такая черная неблагодарность? Неужели при одном намеке на знатность ты можешь забыть старых друзей и их расположение к тебе? стыдно, Дэви, стыдно!»

Я сел на камень, с которого только что встал

добрый священник, и открыл пакет, чтобы посмотреть подарки.

Я догадывался, что то, что мистер Кемпбелл называл кубической вещью, было, конечно, карманной библией. То, что он называл круглой вещью, оказалось шиллингом; а третья вещь, которая должна была так замечательно помогать мне, и здоровому и больному, оказалась клочком грубой желтой бумаги, на котором красными чернилами были написаны следующие слова:

«Как готовить ландышевую воду. Возьми херес, сделай настойку на ландышевом цвете и принимай при случае ложку или две. Эта настойка возвращает дар слова тем, у кого отнялся язык; она помогает при подагре, укрепляет сердце и память. Цветы же положи в плотно закупоренную банку и поставь на месяц в муравейник, затем вынь и тогда увидишь в банке выделенную цветами жидкость, которую и храни в пузырьке; она полезна здоровым и больным, как мужчинам, так и женщинам».

Внизу была приписка рукой священника: «Также ее следует втирать при вывихах, а при коликах принимать каждый час по столовой ложке».

Я, разумеется, посмеялся над этим, но то был нервный смех. Поскорее повесив свой узел на конец палки, я перешел брод и стал подниматься на холм по другую сторону речки. Наконец я добрался до

зеленой дороги, тянущейся среди вереска, и кинул последний взгляд на иссендинскую церковь, на деревья вокруг дома священника и на высокие рябины на кладбище, где покоились мои родители.

II. Я достигаю места назначения

Наутро второго дня, достигнув вершины холма, я увидел перед собой всю расположенную на склоне страну, до самого моря, а посреди этого склона, на длинном горном кряже, — Эдинбург, дымивший, как калильная печь. На замке развевался флаг, а в заливе плавали или стояли на якорях суда. Несмотря на очень далекое расстояние, я мог все ясно разглядеть, и мое деревенское сердце от радости готово было выпрыгнуть из груди.

Затем я миновал дом пастуха, где мне довольно грубо указали, как добраться до Крамонда. И так, спрашивая то одного, то другого, я шел мимо Колинтона все к западу от столицы, пока не вышел на дорогу, ведущую в Глазго. А на ней, к великому моему удовольствию и удивлению, я увидел солдат, маршировавших под звуки флейт; впереди на серой лошади ехал старый генерал с багровым лицом, а сзади шла рота гренадеров в шапках, напоминавших папские тиары. Во мне зашевелилось чувство гордости при виде военных в красных мундирах и при звуке веселой музыки.

Немного дальше мне объяснили, что я в Крамондском приходе. Тогда я стал осведомляться о Шоос-гаузе. Казалось, что мой вопрос всех удивляет. Сперва я подумал, что моя простая деревенская одежда, запылившаяся в дороге, плохо вязалась с величиим этого места. Но, после того как двое или трое, одинаково взглянув на меня, уклонились от ответа, мне начало приходить в голову, что в самом Шоос-гаузе есть что-то странное.

Чтобы рассеять свои опасения, я переменял форму вопросов, и, увидев честного малого, который ехал по проселочной дороге, стоя на телеге, я спросил, слышал ли он когда-нибудь про Шоос-гауз.

Он остановил телегу и посмотрел на меня так же, как и другие.

— Да, — отвечал он. — А что?

— Это большая усадьба? — спросил я.

— Разумеется, — отвечал он. — Дом очень большой.

— Ну, — спросил я, — а что за люди живут там?

— Люди! — воскликнул он. — С ума ты сошел! Там нет людей.

— А мистер Эбенезер? — спросил я.

— О да! — сказал он. — Если тебе нужен лэрд, то он там. Какое у тебя к нему дело,

любезный?

— Мне сказали, что могу найти у него место, — сказал я, стараясь казаться как можно скромнее.

— Что? — закричал человек так громко, что даже лошадь вздрогнула. — Вот что, любезный, — продолжал он, — это, конечно, не мое дело, но ты кажешься мне порядочным малым... Послушай-ка моего совета и держись подальше от Шоос-гауза.

Потом я встретил юркого человечка в красивом белом парике и понял, что это цирюльник, который совершает свой обход. Так как мне было известно, что все цирюльники большие болтуны, то я без обиняков спросил его, что за человек мистер Бальфур из Шоос-гауза.

— О, — сказал цирюльник, — он очень мало похож на человека!

И начал хитро расспрашивать, что мне нужно, но я был еще хитрее, и он пошел к своему клиенту, не узнав ничего больше того, что знал сам.

Не могу описать, какой удар это все нанесло моим ожиданиям! Чем туманнее были обвинения, тем они мне меньше нравились, так как оставляли обширное поле для воображения. Что же это за дом, когда один вопрос: «Где он находится?» — заставляет весь приход вздрагивать и таращить глаза? И что это был за лэрд, когда дурная слава о нем бежала по всем дорогам? Если после часовой

хотьбы я мог бы вновь очутиться в Иссендине, то бросил бы свою затею и вернулся бы к мистеру Кемп-беллу. Но я забрался уже так далеко, что самолюбие не позволяло мне отступить, не проверив, в чем дело; из одного только самоуважения я должен был довести его до конца. И хотя мне было очень не по душе все, что я слышал, я все-таки, хотя и замедлив шаги, продолжал спрашивать дорогу и идти вперед.

День близился к закату, когда я встретил полную темноволосую женщину с угрюмым лицом, устало спускавшуюся с холма. Когда я обратился к ней с моим обычным вопросом, она круто повернула назад, проводила меня до вершины, с которой только что спустилась, и показала мне на громадное строение, одиноко стоявшее на лужайке в глубине ближайшей долины. Местность вокруг была очень красива. Невысокие холмы были покрыты лесом и богато орошены, а поля, на мой взгляд, обещали необыкновенный урожай. Но самый дом мне показался какой-то развалиной. К нему не вело дороги; ни из одной трубы не шел дым, а вокруг него не было ничего похожего на сад. У меня упало сердце.

— Как? Это? — воскликнул я. Глаза женщины враждебно сверкнули.

— Это Шоос-гауз! — закричала она. — Кровь строила его, кровь остановила постройку, кровь

разрушит его. Смотри, — воскликнула она, — я плюю на землю и призываю на него проклятие! Пусть все там погибнут! Если ты увидишь лэрда, передай ему мои слова, скажи ему, что Дженет Клоустон в тысячу двести девятнадцатый раз призывает проклятие на него и на его дом, на его хлев и конюшню, на его слугу, гостя, хозяина, жену, дочь, ребенка — да будет ужасна их гибель!

И женщина, чей голос звучал как жуткое заклинание, внезапно подпрыгнула, повернулась и исчезла. Я продолжал стоять на том же месте, и волосы мои поднялись дыбом. В те времена люди верили в ведьм и боялись проклятий. Проклятие этой женщины, являвшееся как бы предостережением, чтобы я остановился, пока еще было время, совершенно лишило меня сил.

Я присел и стал смотреть на Шоос-гауз. Чем больше я смотрел, тем местность мне казалась красивее. Все кругом было покрыто цветущим боярышником. Луга были усеяны овцами. В небе большими стаями пролетали грачи. Во всем сказывалось богатство почвы и благотворность климата, и только дом совсем не нравился мне.

Пока я сидел так около канавы, крестьяне стали возвращаться с полей, но я был в таком унынии, что даже не пожелал им доброго вечера. Наконец солнце село, и я увидел струю дыма, поднимавшуюся прямо на фоне желтого неба. Хотя

струйка эта и была не шире, чем дымок от свечи, но все-таки служила доказательством того, что в доме были огонь, и тепло, и ужин, и какое-то живое существо. Эта мысль ободрила меня.

И я пошел вперед по терявшейся в траве тропинке, которая вела к дому. Она казалась слишком незаметной, чтобы вести к обитаемому месту, но другой я не видел. Тропинка привела меня к каменной арке; рядом с ней стоял домик без крыши, а наверху арки виднелись следы герба. Очевидно тут предполагался главный вход, который не был достроен. Вместо ворот из кованого чугуна высились две деревянные решетчатые дверцы, связанные соломенным жгутом; не было ни садовой ограды, ни малейшего признака подъездной дороги, но тропинка, по которой я шел, обогнула арку с правой стороны и, извиваясь, направилась к дому.

Чем ближе я подходил к нему, тем угрюмее он казался. Это был, должно быть, только один из флигелей недостроенного дома. Во внутренней части его верхний этаж не был подведен под крышу, и в небе вырисовывались нескончаемые уступы и лестницы. Во многих окнах не хватало стекол, и летучие мыши влетали и вылетали туда и обратно, как голуби на голубятне.

Когда я подошел совсем близко, уже начинало темнеть, и в трех нижних окнах, расположенных

высоко над землей, очень узких и запертых на засов, замерцал дрожащий свет маленького огонька.

Так вот тот дворец, куда я иду! Вот те стены, в которых я буду искать новых друзей и должен начать блестящую карьеру! Там, в Иссен-Уотерсайде, в доме моего отца, яркий огонь светил на милню вокруг и дверь отворялась для каждого нищего.

Я осторожно шел вперед, наострив уши, и до меня донеслись звуки передвигаемой посуды и чьего-то сухого сильного кашля, но не было слышно ни голосов, ни даже лая собаки.

Большая дверь, насколько я мог различить при тусклом вечернем свете, была деревянная, вся утыканная гвоздями, и я с робким сердцем поднял руку и постучал один раз. Потом стал ждать. В доме воцарилась мертвая тишина. Прошла минута, и ничто не двигалось, кроме летучих мышей, шнырявших над моей головой. Я снова постучал, снова стал слушать... Теперь мои уши так привыкли к тишине, что я слышал, как часы внутри дома отсчитывали секунды, но тот, кто был в доме, хранил мертвое молчание и, должно быть, затаил дыхание. Я уже думал, не убежать ли мне, но гнев пересилил; я стал колотить руками и ногами в дверь и громко звать мистера Бальфура. Едва я вошел в азарт, как услышал над собой кашель. Отскочив от двери и взглянув наверх, я в одном из окон

верхнего этажа увидел человека в высоком ночном колпаке и расширенное к концу дуло мушкетона.



— Он заряжен, — произнес голос.

— Я принес письмо мистеру Эбенезеру Бальфуру из Шооса, — сказал я. — Здесь он?

— От кого? — спросил человек с мушкетонам.

— Это вас не касается, — возразил я, начиная

раздражаться.

— Хорошо, — ответил он, — можешь положить его на порог и убраться.

— Уж этого-то я не сделаю! — воскликнул я. — Я отдам его мистеру Бальфуру в собственные руки, как мне велено. Это рекомендательное письмо.

— Что такое? — резко крикнул голос. Я повторил свои слова.

— Кто же ты сам? — был следующий вопрос после значительной паузы.

— Я не стыжусь своего имени, — сказал я. — Меня зовут Давид Бальфур.

Я убежден, что при этих словах человек вздрогнул, потому что услышал, как мушкетон брякнул о подоконник. Следующий вопрос был задан после долгого молчания и странно изменившимся голосом:

— Твой отец умер?

Я так был поражен, что не мог отвечать, и в изумлении смотрел на него.

— Да, — продолжал человек, — наверное он умер, и вот почему ты ломаешь мои двери.

Опять пауза, а затем он сказал вызывающе:

— Что ж, я впущу тебя, — и исчез из окна.

III. Я знакоюсь со своим дядей

Вскоре послышался лязг цепей и отодвигаемых засовов; дверь была осторожно приотворена и немедленно закрыта за мной.

— Ступай на кухню и ничего не трогай, — сказал голос.

И пока человек, живший в доме, снова укреплял затворы, я ощупью добрался до кухни.

Ярко разгоревшийся огонь освещал комнату с таким убогим убранством, какого я никогда не видел. С полдюжины мисок и блюд стояло на полках; стол был накрыт для ужина: миска с овсяной кашей, роговая ложка и стакан слабого пива. В этой большой пустой комнате со сводчатым потолком ничего больше не было, кроме нескольких закрытых на ключ сундуков, стоявших вдоль стены, и посудного шкафа с висячим замком в углу.

Закрепив последнюю цепь, человек вернулся ко мне. Он был небольшого роста, сутуловат, с узкими плечами и землистым цветом лица; ему могло быть от пятидесяти до семидесяти лет. На нем был фланелевый ночной колпак и такой же халат, надетый сверх истрепанной рубашки и заменявший ему и жилет и кафтан. Он, очевидно, давно не брился. Но более всего тревожило и даже страшило меня то, что он все время не спускал с

меня глаз и вместе с тем ни разу не взглянул мне прямо в лицо. Я никак не мог догадаться, кто он по рождению или по занятию. Более всего он был похож на старого, отслужившего свой век слугу, которого за харчи приставили смотреть за домом.

— Ты проголодался? — спросил он, и взгляд его забежал на уровне моего колена. — Можешь съесть эту кашу.

Я сказал, что это, вероятно, его собственный ужин.

— О, — сказал он, — я могу отлично обойтись без него. Но я выпью эля: он смягчает мой кашель.

Он выпил около полустакана, все время не спуская с меня глаз. Затем быстро протянул руку.

— Покажи письмо, — сказал он.

Я сказал, что письмо адресовано не ему, а мистеру Бальфуру.

— А за кого ты меня принимаешь? — спросил он. — Дай мне письмо Александра!

— Вы знаете, как звали моего отца?

— Было бы странно, если бы я этого не знал, — отвечал он. — Он был мне родным братом, и, хотя тебе, кажется, очень не по вкусу и я сам, и мой дом, и моя прекрасная овсянка, я все-таки твой родной дядя, мой милый, а ты — мой родной племянник. А потому отдай мне письмо, а сам пока ешь.

Будь я моложе на несколько лет, я, вероятно, расплакался бы от стыда, отвращения и разочарования. Теперь же я не мог произнести ни слова, но молча отдал ему письмо и стал есть кашу так неохотно, насколько это возможно для здорового юноши.

В это время дядя мой, наклонясь к огню, вертел письмо в руках.

— Знаешь ли ты, что в нем? — внезапно спросил он.

— Вы сами видите, сэр, — сказал я, — что печать не сломана.

— Гм... — сказал он. — Что же тебя привело сюда?

— Я хотел отдать письмо, — сказал я.

— Ну, — сказал он с хитрым видом, — ведь у тебя были, вероятно, какие-нибудь надежды.

— Сознаюсь, сэр, — отвечал я, — узнав, что у меня есть состоятельные родственники, я действительно надеялся, что они мне смогут помочь. Но я не нищий, я не ищу милости у вас и не прошу ничего, что дается неохотно. Хоть я и кажусь бедным, но у меня есть друзья, которые будут рады помочь мне.

— Ну, ну, — сказал дядя Эбенезер, — нечего тебе фыркать на меня. Мы еще отлично поладим. А затем, Дэви, если ты не хочешь этой каши, то я доем ее сам. Да, — продолжал он, завладев моим

стулом и ложкой, — овсяная каша — славная, здоровая пища, важная пища. — Он вполголоса пробормотал молитву и принялся ужинать. — Твой отец очень любил поесть, я помню. Можно было назвать его если не большим, то, по крайней мере, усердным едоком. Что же касается меня, то я всегда только чуть притрагивался к пище. — Он глотнул пива, и это, вероятно, напомнило ему об обязанностях гостеприимства, потому что следующими его словами были: — Если ты хочешь пить, то найдешь воду за дверью.

На это я ничего не ответил, но упорно продолжал стоять и глядеть с большим гневом на моего дядю. Он продолжал торопливо есть и бросал быстрые взгляды то на мои башмаки, то на чулки домашней вязки. Только раз, когда он решился взглянуть немного повыше, глаза наши встретились, и даже на лице вора, пойманного на месте преступления, не могло отразиться столько страха. Это заставило меня призадуматься над тем, не происходила ли его боязливость от непривычки к людскому обществу, не пройдет ли она после небольшого опыта и не станет ли мой дядя совсем другим человеком. От этих мыслей меня пробудил его резкий голос.

— Твой отец давно умер? — спросил он.

— Уже три недели, сэр, — отвечал я.

— Александр был скрытный человек,

молчаливый человек, — продолжал он. — Он и в молодости мало разговаривал. Он говорил что-нибудь обо мне?

— Пока вы сами мне не сказали, сэр, я и не знал, что у него был брат.

— О господи! — воскликнул Эбенезер. — Верно, он и о Шоосе не говорил?

— Никогда даже не называл его по имени, — сказал я.

— Подумать только! — ответил он. — Станный человек!

Несмотря на это, он казался чрезвычайно довольным: самим ли собою, или мной, или поведением моего отца — этого я не мог угадать. Во всяком случае, у него, должно быть, прошло то чувство отвращения или недоброжелательства, которое он сначала испытывал ко мне, потому что он вдруг вскочил, прошелся по комнате за моей спиной и хлопнул меня по плечу.

— Мы еще отлично поладим! — воскликнул он. — Я положительно рад, что впустил тебя. А теперь пойдем спать.

К моему великому удивлению, он не зажег ни лампы, ни свечи, а ощупью вошел в темный проход; ощупью, тяжело дыша, поднялся на несколько ступенек, остановился перед какой-то дверью и отомкнул ее. Я спотыкался, стараясь следовать за ним по пятам, и теперь стоял рядом. Он предложил

мне войти, так как это и была моя комната. Я послушался, но, сделав несколько шагов, остановился и попросил свечку.

— Ну, ну, — проговорил дядя Эбенезер, — сегодня чудная лунная ночь.

— Сегодня нет ни луны, ни звезд, сэр, и тьма кромешная, — сказал я. — Я не могу найти постель.

— Ну, ну, — ответил он, — я не люблю, чтобы в доме был свет. Я страшно боюсь пожара. Спокойной ночи, Дэви, мой милый.

И не успел я выразить еще раз свой протест, как он захлопнул дверь, и я услышал, как он запирает меня снаружи. Я не знал, плакать ли мне или смеяться. В комнате было холодно, как в колодце, а когда я наконец нашел постель, она оказалась мокрой, как торфяное болото. Но я, к счастью, захватил с собой свой узел с вещами и, завернувшись в плед, улегся на полу около большой кровати и быстро заснул.

С первым проблеском дня я открыл глаза и увидел, что нахожусь в большой комнате, обитой тисненой кожей, обставленной дорогой вышитой мебелью и освещаемой тремя прекрасными окнами. Лет десять, а может быть, и двадцать назад нельзя было бы желать более приятной комнаты для сна или пробуждения, но с тех пор сырость, грязь, заброшенность, мыши и пауки сделали свое дело. Кроме того, некоторые оконные рамы были

сломаны, но в Шоос-гаузе это было обычным явлением, точно моему дяде приходилось когда-нибудь выдерживать осаду своих возмущенных соседей, может быть, с Дженет Клоу-стои во главе.

Между тем на дворе светило солнце, а я так замерз в этой печальной комнате, что начал стучать и кричать, пока не пришел мой тюремщик и не выпустил меня. Он повел меня за дом, где был колодец с бадьей, и сказал, что, «если мне нужно, я могу вымыть тут лицо». Я вымылся и добрался как мог до кухни, где он развел огонь и стряпал овсяную кашу. На столе стояли две чашки с двумя роговыми ложками, но все тот же единственный стакан легкого пива. Вероятно, я посмотрел на него с некоторым удивлением, и мой дядя заметил это, потому что, как бы в ответ на мою мысль, он спросил, не хочу ли я выпить эля — так он называл свое пиво.

Я сказал ему, что, хотя у меня есть такая привычка, я не желаю его беспокоить.

— Ну, ну, — сказал он, — я не отказываю тебе в том, что благоразумно.

Он снял с полки другой стакан, но, к моему великому изумлению, вместо того чтобы нацедить еще пива, перелил ровно половину из первого стакана во второй. В этом было какое-то благородство, от которого у меня захватило дух.

Хотя мой дядя бесспорно был скрягой, но принадлежал к той высшей породе скупцов, которые могут заставить уважать свой порок.

Когда мы кончили завтрак, мой дядя открыл сундук и вынул из него глиняную трубку и пачку табаку, от которой отрезал ровно столько, чтобы набить себе трубку, а остальное запер снова. Затем он уселся на солнце у одного из окон и стал молча курить. Время от времени глаза его останавливались на мне, и он выпаливал какой-нибудь вопрос. Раз он спросил:

— А твоя мать?

И когда я сказал, что и она также умерла, он прибавил:

— Красивая была девушка!

Потом опять после длинной паузы:

— А кто такие твои друзья?

Я сказал ему, что то были различные джентльмены, носящие фамилию Кемпбелл, хотя на самом деле только один из них, а именно священник, когда-либо обращал на меня внимание. Но я начинал думать, что дядя слишком легко относится к моему общественному положению, и желал доказать ему, что хотя я с ним теперь наедине, но у меня есть защитники.

Он, казалось, раздумывал о моих словах.

— Дэви, — сказал он потом, — ты хорошо сделал, что пришел к своему дяде Эбенезеру. Я

высоко ставлю нашу фамильную честь и исполню свой долг относительно тебя, но пока я обдумываю, куда бы лучше тебя пристроить: сделать ли тебя дипломатом, или юристом, или, может быть, военным, что молодежь любит более всего. Я не хотел бы, чтобы Бальфур унижался перед северными Кемпбеллами, и потому прошу тебя держать язык за зубами. Чтобы не было никаких писем, никаких посланий, ни слова никому, иначе — вот дверь.

— Дядя Эбenezер, — отвечал я, — у меня нет основания предполагать, что вы желаете мне дурное. Но, несмотря на то, я желал бы убедить вас, что и у меня есть самолюбие. Я отыскал вас не по своей воле. И если вы еще раз укажете мне на дверь, я поймаю вас на слове.

Он казался сильно смущенным.

— Ну, ну, — сказал он, — нельзя же так, мой милый, нельзя. Потерпи день или два. Я не колдун, чтобы найти тебе карьеру на дне суповой миски. Но дай мне день или два и не говори никому ни слова, и, честное слово, я исполню свой долг относительно тебя.

— Хорошо, — сказал я, — этого довольно. Если вы хотите помочь мне, то я, без сомнения, буду очень рад и очень вам благодарен.

Мне стало казаться (немного преждевременно), что я взял верх над моим дядей, и

я заявил, что надо проветрить кровать и постельное белье и просушить их на солнце, потому что я ни за что не стану спать в таком неприятном месте.

— Кто здесь хозяин, ты или я? — закричал он своим пронзительным голосом, но вдруг сразу осекся. — Ну, ну, — прибавил он, — я не то хотел сказать. Что мое, то и твое, Дэви, а что твое, то и мое. Ведь кровь не вода, и на свете только мы двое носим имя Бальфуrow.

И он начал бессвязно рассказывать о нашей семье и ее былом величии, о своем отце, начавшем перестраивать дом, о себе, о том, как он остановил перестройку, считая ее преступной растратой денег. Это навело меня на мысль передать ему проклятия Дженет Клоустон.

— Ах негодяйка! — заворчал он. — Тысячу двести девятнадцать — это значит каждый день с тех пор, как я продал ее имущество. Я бы хотел видеть ее поджаренной на горячих угольях, прежде чем это случится! Ведьма, настоящая ведьма! Я пойду переговорить с секретарем суда.

С этими словами он открыл сундук и вынул из него очень старый, но хорошо сохранившийся синий кафтан, жилет и довольно хорошую касторовую шляпу — все это без галунов. Он кое-как напялил это на себя и, взяв из шкафа палку, опять запер все на ключ и собрался уже уходить, как вдруг новая мысль остановила его.

— Я не могу оставить тебя одного в доме, — сказал он. — Мне придется запереть дверь и тебя не впускать.

Кровь прилила мне к лицу.

— Если вы выгоните меня из дому, то уже больше меня не увидите, — сказал я.

Он страшно побледнел и пососал губы.

— Это плохой способ, — сказал он, злобно глядя в пол, — это плохой способ добиться моего расположения, Давид.

— Сэр, — сказал я, — хотя я и питаю подобающее уважение к вашим летам и нашему роду, но мало ценю ваше расположение: меня учили уважать себя, и, если бы вы были десять раз моим единственным дядей и моей единственной семьей, я все-таки не стал бы покупать ваше расположение такую ценой.

Дядя Эбенезер подошел к окну и некоторое время глядел в него. Я видел, как он трясся и корчился, словно в судороге. Но когда он обернулся, на лице его играла улыбка.

— Ну хорошо, — сказал он, — надо терпеть и щадить. Я не уйду, и довольно об этом.

— Дядя, — сказал я, — я ничего не понимаю. Вы обращаетесь со мной, как с воришкой. Вам неприятно, что я в этом доме, вы даете мне понять это ежеминутно и на каждом слове. Невозможно, чтобы вы смогли полюбить меня. Я, со своей

стороны, говорил с вами так, как ни с кем никогда не говорил. Зачем же вы хотите удержать меня? Отпустите меня обратно к моим друзьям, которые любят меня!

— Ну, ну, ну, — сказал он серьезно. — Я тебя очень люблю, мы еще отлично поладим, и честь дома не позволяет мне отпустить тебя туда, откуда ты пришел. Поживи здесь спокойно, будь умником, побудь некоторое время со мной, и ты увидишь, что мы поладим.

— Хорошо, сэр, — сказал я, подумав, — я немного поживу здесь. Конечно, справедливее получить помощь от родственника, чем от чужих, и если мы не поладим, то надеюсь, что не по моей вине.

IV. Я подвергаюсь большой опасности в Шоос-гаузе

День, начавшийся так дурно, прошел, сверх ожидания, довольно хорошо. В двенадцать часов мы опять ели холодную овсяную кашу, а вечером горячую; овсяная каша и легкое пиво составляли весь стол моего дяди. Он разговаривал мало и, так же как и прежде, после долгого молчания выпаливал свои вопросы, а когда я попытался навести его на разговор о моем будущем, он снова увернулся. В комнате рядом с кухней, куда он

позволил мне пройти, я нашел множество латинских и английских книг, чтением которых я с большим удовольствием занялся до вечера. Время прошло так незаметно в этом приятном обществе, что я почти примирился с моим пребыванием в Шоос-гаузе, и только вид моего дяди и глаза его, как бы игравшие в прятки с моими глазами, вызывали во мне недоверие.

Я открыл нечто, возбуждавшее во мне сомнения. Это была надпись на первой страничке дешевой народной книги (Патрика и Уоркера), сделанная, очевидно, рукой моего отца и гласившая: «Моему брату Эбенезеру в пятую годовщину его рождения». Меня сбilo с толку вот что: мой отец был младшим сыном в семье, стало быть, он совершил странную ошибку или же, не достигнув еще и пяти лет, уже писал превосходным, четким почерком.

Я старался выкинуть это из головы, но хотя я затем просмотрел много интересных книг, старых и новых, исторических, стихи и романы, мысль о почерке моего отца не покидала меня. И когда я наконец вернулся в кухню и снова уселся за кашу и пиво, я первым делом спросил дядю Эбенезера, был ли мой отец очень способен к учению.

— Александр? Нет, — отвечал он. — Я был гораздо способнее: я в детстве был умным мальчиком и научился читать одновременно с ним.

Это озадачило меня еще больше; мне пришло на мысль, не были ли они близнецами, и я спросил его об этом.

Он вскочил со стула, и роговая ложка выпала из его рук на пол.

— Зачем ты это спрашиваешь? — спросил он, схватив меня за плечо и глядя мне прямо в лицо; а глаза его, небольшие, светлые и блестящие, как у птицы, как-то странно мигали и щурились.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я спокойно. Я был значительно сильнее его, и меня нелегко было испугать. — Оставьте мою куртку. Так нельзя обращаться с людьми.

Мне показалось, что дядя мой сделал над собой большое усилие.

— Слушай, Давид, — сказал он, — ты не должен говорить со мной о твоём отце. В этом все дело. — Некоторое время он сидел неподвижно, но весь дрожа и не сводя немигающего взгляда с тарелки. — У меня, кроме него, не было братьев, — прибавил он, но совершенно бесчувственным голосом; затем взял ложку и принялся за ужин, все еще не переставая дрожать.

Все его поведение — то, что он поднял на меня руку, а потом неожиданно признался в любви к моему отцу — было выше моего понимания и возбудило во мне одновременно и страх и надежду. С одной стороны, я начинал думать, что мой дядя,

пожалуй, сумасшедший и может быть опасен. С другой стороны (совершенно произвольно), в уме моем стала слагаться история наподобие слышанных мною когда-то народных баллад о бедном юноше, законном наследнике, и о злом родственнике, старавшемся отнять у него то, что ему принадлежало по праву. Если бы мой дядя в глубине души не имел причины бояться меня, то зачем ему было играть комедию с пришедшим к нему бедным, почти нищим родственником?

Хотя я не признавался себе в этой мысли, она тем не менее прочно засела в моей голове, и я, по примеру дяди, стал украдкой следить за ним. Так мы сидели за столом, как кошка с мышью, пристально наблюдая друг за другом. Он больше не говорил мне ни слова, но что-то усердно соображал. И чем дольше я наблюдал за ним, тем мне становилось яснее, что он замышляет что-то враждебное мне.

Убрав посуду, он достал табак на одну трубку; так же как и утром, повернул стул к очагу и курил некоторое время, сидя спиной ко мне.

— Дэви, — сказал он наконец, — я вот о чем думаю... — Он остановился и еще раз повторил свои слова. — У меня есть немного денег, почти обещанных тебе еще до твоего рождения, — продолжал он, — я обещал их твоему отцу. О, без всяких формальностей, понимаешь, просто в

разговоре за стаканом вина. Ну вот, я эти деньги держал отдельно — это было очень невыгодно, но что делать: обещал так обещал, и теперь эта сумма возросла ровно до... — тут он запнулся, — ровно до сорока фунтов! — Он произнес эти слова, взглядывая на меня через плечо, и потом почти с воплем прибавил: — Шотландскими деньгами!

Так как шотландский фунт равняется английскому шиллингу, то разница от этой оговорки получилась значительная. Кроме того, я видел, что вся эта история была ложью, выдуманною с какой-то целью, которую я затруднялся угадать. Поэтому я не пытался скрыть усмешку в голосе, ответив ему:

— О, припомните хорошенько, сэр! Вероятно, сорока фунтов стерлингов!²

— Я это и хотел сказать, — отвечал дядя, — сорока фунтов стерлингов! И если ты на минутку выйдешь за дверь посмотреть, что делается на дворе, я достану их и позову тебя обратно.

Я исполнил его желание, презрительно улыбаясь его уверенности, что меня так легко обмануть. Ночь была темная, и только несколько звезд светилось над горизонтом, и в то время, как я стоял за дверью, я услышал глухой стон ветра

² Один фунт стерлингов содержит 20 шиллингов

между холмами. Я подумал, что в воздухе чувствуется приближение грозы и перемена погоды, но не предполагал, что еще до наступления ночи это будет иметь для меня огромное значение.

Позвав меня обратно, дядя отсчитал тридцать семь золотых гиней;³ остальные деньги, в мелких золотых и серебряных монетах, он держал в руках, но в последнюю минуту пожалел расстаться с ними и сунул их в карман.

— Ну вот, — сказал он, — ты видишь теперь! Я чудак и странно веду себя с чужими, но слово свое держу, и вот тебе доказательство.

Я считал своего дядю таким скупым, что онемел от его неожиданного великодушия и не мог найти слов, чтобы ему выразить свою благодарность.

— Ни слова! — сказал он. — Без благодарности, мне благодарности не надо. Я исполняю свой долг. Конечно, не всякий бы сделал это, ко мне доставляет удовольствие, хотя я и осторожный человек, отдать должное сыну моего брата. Мне приятно думать, что теперь мы поладим, как подобает таким близким людям.

³ Гинейя — старинная английская золотая монета, содержащая 21 шиллинг (теперь гинейи уже не чеканят, но иногда еще применяют в качестве единицы денежного счета).

Я отвечал ему со всей возможной учтивостью, но все время недоумевал, что будет дальше и почему он расстался со своими драгоценными гинеями: ведь даже ребенок не поверил бы его объяснениям.

Вслед за тем он опять искоса взглянул на меня.

— А теперь, — сказал он, — услуга за услугу.

Я отвечал, что готов доказать ему свою благодарность в разумной степени, и стал ждать какого-нибудь чудовищного требования. Однако, когда он, наконец, решился заговорить, то сказал только — и очень здраво, — что стареет и слабеет и надеется, что я помогу ему управляться в доме и в садике.

Я отвечал, что готов служить ему.

— Хорошо, — сказал он, — так начнем сейчас же. — Он вытащил из кармана заржавевший ключ. — Вот, — сказал он, — ключ от башни с винтовой лестницей, расположенной в конце дома. Войти в нее можно только снаружи, потому что та часть дома не достроена. Войди в башню, поднимись по лестнице и принеси мне ящик, находящийся наверху. В нем бумаги, — добавил он.

— Можно взять свечу? — спросил я.

— Нет, — ответил он с хитрым видом, — в моем доме нельзя зажигать огня.

— Прекрасно, сэр, — согласился я. —

Лестница хорошая?

— Отличная лестница, — сказал он и, видя, что я ухожу, добавил: — Держись за стену, перил там нет. Но ступеньки очень удобны.

Я вышел в темноту. Ветер стонал где-то далеко, но около дома его не чувствовалось. Было страшно темно, и я был рад, что мог идти вдоль стены до самой двери башни на краю незаконченного флигеля. Я всунул ключ в замочную скважину и едва успел повернуть его, как вдруг, без всякого ветра или грома, все небо осветилось сильной молнией и затем снова потемнело. Мне пришлось закрыть глаза рукой, чтобы опять привыкнуть к темноте, и, войдя в башню, я был еще наполовину ослеплен.

Внутри стоял такой густой мрак, что я ничего не видел, но при первом же шаге натолкнулся рукой на стену, а ногой попал на нижнюю ступеньку лестницы. Стена на ощупь оказалась сложенной из хорошего тесаного камня; ступеньки были хотя немного круты и узки, но тоже из полированного камня — ровные и прочные. Памятуя слова моего дяди об отсутствии перил, я держался за стену и с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу в кромешной тьме.

Шоос-гауз был вышиной около пяти этажей, не считая чердаков. Но по мере того как я поднимался, мне казалось, что в башню проникает

воздух и что становится чуть-чуть светлее. Я не мог понять причины этой перемены, как вдруг опять блеснула и пропала молния. Я не закричал только потому, что страх сдавил мне горло, и только по милости неба я не упал с лестницы. При блеске молнии я увидел не только многочисленные проломы в стене, так как я словно карабкался вверх по открытым лесам, но и то, что ступени здесь были неравной длины и нога моя в ту минуту была в двух дюймах от пустого пространства.

«Так вот она, эта отличная лестница!» — подумал я. При этой мысли мной овладела злоба, придавшая мне храбрости. Послав меня сюда, дядя подвергнул меня ужасной опасности, быть может, смертельной. Я поклялся, что выясню это «быть может», хотя бы мне для этого пришлось сломать себе шею. Я опустился на четвереньки и медленно, как улитка, продолжал подниматься по лестнице, ощупывая впереди каждый дюйм пространства и испытывая прочность каждого камня. От контраста с молнией темнота, казалось, удвоилась, но это было не все: странный шум, производимый летучими мышами в верхней части башни, оглушал меня и сбивал с толку; кроме того, слетая вниз, эти отвратительные животные иногда задевали меня по лицу или по спине.

Надо сказать, что башня была четырехугольная. В каждом углу для соединения

маршей вместо забежной площадки лежало по большому камню различной формы. Я на ощупь добрался до одного из этих поворотов, как вдруг рука моя, соскользнув с угла, очутилась в пустом пространстве: лестница дальше не шла. Хотя я благодаря молнии и своей осторожности остался жив и невредим, но при одной мысли о грозившей мне гибели и о страшной высоте, с которой я мог упасть, холодный пот выступил у меня на лбу, и я почувствовал слабость во всем теле.

Узнав теперь все, что я желал знать, я повернул обратно и ощупью стал спускаться, затаив в сердце страшную злобу. Когда я спустился до половины, ветер с шумом налетел, потрясая башню, и снова стих. Затем пошел дождь, и, прежде чем я успел добраться до низа, он уже лил как из ведра. Я выставил голову наружу и взглянул в сторону кухни. Дверь, которую, уходя, я закрыл за собой, теперь была открыта, и оттуда шел слабый луч света. Мне показалось, что я вижу какую-то фигуру, которая неподвижно стояла под дождем, точно прислушиваясь. Затем сверкнула ослепительная молния и осветила дядю, стоявшего на том самом месте, где я предполагал его видеть. И тотчас последовал сильный раскат грома.

Принял ли мой дядя раскат грома за шум моего падения или он услышал в нем глас божий, возвещавший о совершившемся преступлении, об

этом я предоставляю вам догадаться самим.

Во всяком случае, достоверно то, что его охватил панический ужас, и он вбежал в дом, оставив дверь открытой. Я последовал за ним как мог осторожнее, вошел неслышно в кухню и стал наблюдать.

Он уже успел открыть угловой шкаф, вынул оттуда большой графин с водкой и теперь сидел за столом спиною ко мне. Время от времени у него делались приступы сильной дрожи, он громко стонал и, поднося графин ко рту, большими глотками пил неразбавленный спирт.

Я подошел к нему сзади и, внезапно ударив его по плечу, закричал:

— А!

Дядя испустил слабый крик, похожий на блеяние овцы, уронил руки и упал замертво. Это меня немного смутило. Но надо было прежде всего позаботиться о себе, и я, не колеблясь, оставил его лежать на полу. Ключи висели в шкафу, и я намеревался заpastись оружием, прежде чем дядя придет в чувство и приобретет снова способность замышлять зло. В шкафу было несколько бутылок, некоторые, по-видимому, с лекарством, затем много счетов и всякого рода бумаг, которые я бы охотно перерыл, будь у меня время, и другие предметы, ненужные мне в эту минуту. Я принялся за сундуки: первый был наполнен мукой, второй —

мешками с деньгами и бумагами, связанными пачками; в третьем я между прочими вещами нашел заржавевший, безобразный на вид шотландский кинжал без ножен. Я засунул его себе за жилет и вернулся к дяде.

Он по-прежнему лежал там, где упал, скорчившись, с вытянутой рукой и ногой; лицо его посинело, и казалось, он перестал дышать. Я испугался, не умер ли он, принес воды и стал брызгать ему в лицо. Он начал приходить немного в себя, шевелить губами и хлопать веками. Наконец он увидел меня, и в глазах его появилось выражение смертельного страха.

— Ну, — сказал я, — попробуйте сесть.

— Ты жив? — всхлипнул он. — Скажи, жив ли ты?

— Да, я жив, — отвечал я. — Не вам за это спасибо. Он стал тяжело дышать.

— Синий пузырек... — сказал он. — В шкафу синий пузырек. — Дыхание его все замедлялось.

Я подбежал к шкафу и нашел там синий пузырек с лекарством. Доза была обозначена на ярлыке, и я, насколько мог скорее, дал ему выпить.

— Это все из-за сердца, Дэви: ведь у меня прескверное сердце, — сказал он, придя немного в себя.

Я посадил его на стул и взглянул на него. Правда, мне было немного жалко такого больного

человека, но во мне кипел справедливый гнев. Я задал ему несколько вопросов, на которые желал получить ответ: зачем он мне лгал на каждом слове? Отчего он боялся, чтобы я не ушел от него? Отчего он не переносил намека на то, что он и мой отец были близнецами? Оттого ли, что это правда? Зачем он дал мне деньги, которые, наверное, я не имел права требовать? И, наконец, зачем он пытался погубить меня? Он слушал молча, потом разбитым голосом попросил меня позволить ему лечь в постель.

— Я завтра расскажу тебе все, — сказал он, — ей-богу, расскажу.

Он был так слаб, что я не мог не выполнить его просьбу, однако запер его в комнате и спрятал ключ в карман. Затем, вернувшись на кухню, развел такой огонь, какого здесь, вероятно, не бывало уже много лет, закутался в плед, улегся на сундуках и заснул.

V. Я иду в Куинзферри

Ночью шел сильный дождь, а на другой день дул резкий северо-западный ветер, гнавший рассеянные облака. Несмотря на это, я до восхода солнца, пока еще не исчезли последние звезды, пошел на берег быстрого глубокого ручья и искупался. Тело мое еще горело от купания, когда я

снова уселся у очага и, подбросив дров, начал серьезно раздумывать о своем положении.

Теперь не было никакого сомнения, что дядя мне враг. Не было сомнения, что я сам должен оберегать свою жизнь, а он сделает все возможное, чтобы погубить меня. Но я был молод, отважен и, как большинство молодых людей, воспитанных в деревне, очень много воображал о своей проницательности. Я пришел в его дом почти нищим и едва выйдя из детского возраста; он встретил меня предательством и насилием. Хорошо было бы прибрать его к рукам и управлять им, как стадом овец.

Я обхватил колено руками и, улыбаясь, смотрел в огонь. Воображение рисовало мне, как я мало-помалу открываю одну за другой тайны моего дяди и становлюсь его повелителем. Говорят, что иссендинский колдун смастерил зеркало, в котором можно было читать будущее. Оно, должно быть, было сделано не из горящих углей, потому что среди образов и картин, рисовавшихся мне, не было ни корабля, ни моряка в мохнатой шапке, ни дубины для моей глупой головы, ни малейшего намека на те напасти, которые вскоре обрушились на меня.

Теперь же я, очень довольный собой, пошел наверх и освободил своего пленника. Он учтиво пожелал мне доброго утра, и я ответил ему тем же,

улыбаясь с высоты сзоего величия. Вскоре мы сидели за завтраком так же, как накануне.

— Ну, сэр, — сказал я язвительным тоном, — что вы имеете мне сказать? — Не получив членораздельного ответа, я продолжал: — Я думаю, что нам пора понять друг друга. Вы принимали меня за деревенского простофилю, у которого ума и храбрости не больше, чем у деревяшки. Я считал, что вы хороший человек или, во всяком случае, не хуже других. Оказывается, что мы оба ошиблись. Что вас заставило бояться меня, обманывать меня, покушаться на мою жизнь?

Он пробормотал что-то про шутку и что он любит посмеяться. Затем, видя, что я улыбаюсь, переменил тон и стал уверять, что он все объяснит мне после завтрака. Я видел по его лицу, что он хотя и старался, но не успел еще придумать новой лжи, и хотел сказать ему это, когда нас прервал стук в дверь.

Приказав моему дяде оставаться на месте, я отворил дверь и заметил на пороге подростка в матросском костюме. Едва он увидел меня, как начал, прищелкивая пальцами и притопывая в такт, выплясывать матросский танец, о котором я до сих пор не имел никакого представления. При этом он посинел от холода, и в его лице было какое-то жалкое выражение, нечто среднее между смехом и слезами, плохо вязавшееся с его веселыми

манерами.

— Что хорошего, браток? — спросил он хриплым голосом.

Я степенно осведомился, по какому делу он пришел.

— Дело? — переспросил он. — Мое дело — забава, — и начал петь:

В этом мое
наслаждение в светлую
ночь,
В лучшее время года.

— Хорошо, — сказал я, — если у тебя нет никакого дела, я буду так невежлив, что запру перед тобою дверь.

— Подождите! — закричал он. — Неужели вы не любите пошутить? Или вы хотите, чтобы меня поколотили? Я принес письмо от старого Хизи-ози господину Бальфуру. — При этих словах он показал мне письмо. — А затем, браток, — прибавил он, — я смертельно проголодался.

— Хорошо, — сказал я, — войди в дом, и я отдам тебе свой завтрак.

С этими словами я провел его в дом и усадил на свое место. Он с жадностью накинулся на остатки завтрака, время от времени кивая мне и делая всевозможные гримасы: бедняжка, очевидно,

считал это очень благородным обращением. Тем временем мой дядя успел прочесть письмо и сидел задумавшись; потом вдруг встал и с живостью потащил меня в самый отдаленный угол комнаты.

— Прочти это, — сказал он и сунул мне в руки письмо. Оно и теперь лежит передо мной.

*Гостиница «В боярышнике»,
Куинзферри.*

Сэр, я стою здесь на якоре и посылаю своего юнгу уведомить вас об этом. Если вы имеете что-либо заказать за морем, то завтра представится последний случай, так как ветер будет благоприятствовать нашему выходу из залива. Не скрою от вас, что у меня были неприятности с вашим поверенным, м-ром Ранкэйлором; и если дело не будет быстро приведено в порядок, то вас могут ожидать некоторые убытки. Я выписал вам счет, согласно записей в книге, и остаюсь вашим покорным слугой.

Элиасом Хозизеном.

— Видишь ли, Дэви, — объяснил мне дядя, как только я прочел письмо, — у меня есть дела с этим Хозизеном, капитаном торгового судна

«Конвент» из Дайзерта. Если бы мы оба пошли теперь с этим мальчишкой, мы могли бы повидаться с капитаном или в гостинице, или, если понадобится подписать какие-нибудь бумаги, на самом «Конвенте». А чтобы не терять времени, мы можем пойти к стряпчему, мистеру Ранкэйлору. После того, что случилось, ты не захочешь верить мне на слово, но ты можешь поверить Ранкэйлору. Это старый и весьма уважаемый человек, поверенный доброй половины здешних дворян. Он знал и твоего отца.

Я некоторое время размышлял. Меня хотели повести в порт, где, без сомнения, много народу и мой дядя не сможет причинить мне ничего дурного. Кроме того, меня предохраняло и присутствие юнги. Раз мы будем там, я сумею настоять на визите к стряпчему, даже если мой дядя теперь и неискренне предлагает это. А может быть, мне просто хотелось в глубине души увидеть вблизи море и корабли, — вы должны помнить, что я всю жизнь провел среди холмов внутри страны и только два дня назад в первый раз увидел залив, расстилавшийся предо мной, как синяя пелена, по которой двигались парусные суда, казавшиеся игрушечными. Все это вместе заставило меня согласиться.

— Отлично, — сказал я, — пойдём в Куинзферри.

Мой дядя надел шляпу, кафтан и пристегнул к нему старый заржавевший кинжал. Затем мы потушили огонь, заперли дверь на замок и отправились в путь.

Холодный северо-западный ветер дул нам почти прямо в лицо. Был июнь. Трава пестрела маргаритками, деревья были в цвету, но, судя по нашим посиневшим ногтям и боли в руках, можно было подумать, что теперь зима и все осыпано снегом.

Дядя Эбенезер плелся по дороге, качаясь из стороны в сторону, как старый пахарь, возвращающийся с работы. За всю дорогу он не сказал ни слова, и мне оставалось только разговаривать с юнгой. Мальчик рассказал мне, что зовут его Рэнсом, что он плавает с девятилетнего возраста, а теперь уже потерял счет своим годам. Несмотря на сильный встречный ветер и на мои увещевания, он обнажил свою грудь, чтобы показать мне татуировку. Он чудовищно ругался, сквернословил по любому поводу, но делал это скорее как глупый школьник, чем взрослый человек, и бахвалился разными дикими и дурными поступками, которые будто бы совершил — тайными кражами, ложными обвинениями, даже убийством, — по все это сопровождалось такими неправдоподобными подробностями и такой дурацкой болтовней, что слова его внушали скорее

жалость, чем доверие.

Я спросил его про бриг (он объявил, что это лучшее судно, которое когда-либо плавало) и про капитана Хозизена, которого он также горячо расхваливал. Хози-ози (так он продолжал называть шкипера) был, по его словам, человек, которому все нипочем, как на земле, так и на небе: человек, который не побоится и Страшного суда, — грубый, вспыльчивый, бессовестный и жестокий. И этими качествами бедный юнга привык восхищаться, как чем-то присущим мужчине. Он видел только одно пятно на своем кумире: Хози-ози не моряк, говорил он, и бригом управляет его помощник, мистер Шуэн, который был бы лучшим моряком в торговом флоте, если бы не пил.

— Я в этом уверен, — прибавил он. — Посмотрите-ка, — и отвернул чулок: он показал мне большую открытую рану, при виде которой кровь похолодела у меня в жилах. — Это он сделал, это сделал мистер Шуэн, — сказал он с гордостью.

— Как, — воскликнул я, — и ты позволяешь ему так бесчеловечно обращаться, с тобой! Ведь ты не раб, чтобы терпеть такое обращение.

— Нет, — сказал дурачок, сразу меняя тон, — и я ему докажу это! Посмотрите. — И он показал мне большой нож, который, как он говорил, где-то украл. — О! — продолжал он — Пускай попробует! Я ему задам! Мне не впервой! — И он подкрепил

свои слова глупой, безобразной божбой.

Я никогда никого так не жалел, как этого полоумного мальчугана, и мне стало представляться, что бриг «Конвент» немногим лучше плавучего ада.

— Разве у тебя нет родственников? — спросил я. Он отвечал, что у него был отец в каком-то английском порту, название которого я забыл.

— Он был хороший человек, — сказал он, — но он умер.

— Боже мой! — воскликнул я. — Но разве ты не можешь найти себе честное занятие на суше?

— О нет! — сказал он, хитро подмигивая. — Меня бы отдали в ремесло. Знаю я эту штуку.

Я спросил, какое ремесло хуже того, которым он теперь занимается, подвергая свою жизнь постоянной опасности не только из-за ветра и моря, но и из-за ужасной жестокости его начальников. Он согласился со мной, сказав, что все это правда, но потом начал расхваливать свою жизнь, рассказывая, как приятно высаживаться на берег с деньгами в кармане и тратить их, как подобает мужчине, — покупать яблоки, хвастаться и удивлять уличных мальчишек.

— И потом, мне вовсе уж не так плохо, — уверял он, — другим «двадцатифунтовым» приходится еще хуже. Боже мой, вы бы

посмотрели, как им тяжело! Я видел человека ваших лет, — ему я казался старым — о, у него была борода! Ну, и как только мы выехали из реки и он протрезвел, боже мой, как он стал реветь! Уж и посмеялся я над ним! А потом еще малыши — они маленькие даже по сравнению со мной! Я держу их в строгости, уверяю вас. Когда мы возим ребят, у меня есть своя плетка стегать их!

И он продолжал в том же роде, пока я не догадался, что под «двадцатифунтовыми» он подразумевал несчастных преступников, которых отправляли в Северную Америку в рабство, или еще более несчастных детей, которых похищали или заманивали обманом (как о том рассказывали) ради выгоды или из мести.

В это время мы подошли к вершине холма и взглянули вниз на Куинзферри и долину. Фортский залив, как известно, в этом месте суживается до ширины большой реки, которая, направляясь к северу, представляет удобное место для перевоза, а верхняя излучина ее образует закрытую гавань для всякого рода судов. Как раз посреди узкой части гавани находится островок, а на нем — развалины; на южном берегу для надобностей перевоза был устроен мол, а на дороге по другую сторону мола высилось здание гостиницы «В боярышнике», окруженное живописным садиком с боярышником и остролистами.

Самый город Куинзферри лежит дальше к западу, и вокруг гостиницы в это время дня было довольно пустынно, так как паром с пассажирами только что отплыл к северу. Однако около мола покачивалась лодка с несколькими матросами, которые спали на скамейках. По словам Рэнсома, это была шлюпка с брига, ожидавшая капитана, а на расстоянии полумили от нее одиноко стоял на якоре «Конвент». На борту его были заметны приготовления к отплытию: реи водворялись на места; и, так как ветер дул с той стороны, я мог слышать пение матросов, тащивших канаты. После того, что я узнал дорогой, я смотрел на этот корабль с крайним отвращением и до глубины души жалел несчастных, которые должны были плыть на нем.

Когда мы все трое поднялись на вершину холма, я обратился к дяде.

— Считаю нужным заявить вам, сэр, — сказал я, — что меня ничто не заставит взойти на борт «Конвента».

Он как будто пробудился от сна.

— Э, — спросил он, — что такое?

Я повторил свои слова.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, — придется сделать по-твоему. Но что же мы стоим? Здесь страшно холодно, и, если не ошибаюсь, «Конвент» снаряжается в путь.

VI. Что случилось в Куинзферри

Как только мы пришли в гостиницу, Рэнсом поднялся с нами по лестнице в маленькую комнату с кроватью. Угли, пылавшие ярким пламенем в камине, нагрели комнату до температуры обжигательной печи. За столом у камина сидел высокий, смуглый, степенного вида человек и писал. Несмотря на жару, на нем была толстая морская куртка, наглухо застегнутая, и большая мохнатая шапка, надвинутая на уши. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, даже судья при разборе дела, проявлял столько спокойствия и самообладания, как этот капитан.

Он тотчас же встал навстречу Эбenezеру и подал ему свою большую руку.

— Я весьма польщен вашим посещением, мистер Бальфур, — сказал он красивым низким голосом, — и рад, что вы пришли вовремя... Ветер попутный, и скоро качнется отлив. Мы еще до наступления ночи увидим огни на острове Мэй.

— Капитан Хозизен, — отвечал мой дядя, — у вас ужасно жарко в комнате.

— Такова моя привычка, мистер Бальфур, — сказал шкипер. — Я по природе человек холодный, у меня кровь холодная, сэр. Ни мех, ни фланель, ни даже горячий ром, сэр, не могут поднять моей температуры. Такое, сэр, бывает у большинства

людей, обожженных, как говорится, жаром тропических морей.

— Да, да, капитан, — отвечал мой дядя, — природы своей не изменишь.

Но случилось так, что эта привычка капитана сыграла большую роль в моих несчастьях. Хотя я и дал себе слово не спускать глаз со своего родственника, но мне не терпелось скорее взглянуть на море, и я так дурно почувствовал себя в душевной комнате, что, когда дядя предложил мне спуститься вниз и немного прогуляться, я был настолько глуп, что воспользовался его предложением.

Я ушел, оставив обоих за бутылкой и большой кипой бумаг. Перейдя дорогу против гостиницы, я спустился к берегу. При настоящем направлении ветра до берега достигали только маленькие волны, немногим больше, чем бывают на озере. Но здесь росли травы, незнакомые мне: одни зеленые, другие коричневые и длинные, третьи — покрытые пузырьками, которые трещали в моих руках. И даже так далеко в заливе чувствовался резко соленый, возбуждающий запах морской воды. «Конвент» начинал разворачивать паруса, повисшие на реях... И все это навело меня на мысль о дальних путешествиях и чужих странах.

Я разглядывал и матросов в лодке, высоких и загорелых парней; некоторые были в рубашках,

другие в куртках, а иные с цветными платками на шее; у одного торчала из карманов пара пистолетов, у двоих были узловатые палки, и у всех — ножи. Я заговорил с одним из них, выглядевшим не таким отчаянным, как его товарищи, и спросил его, когда отправится бриг. Он ответил, что корабль двинется в путь с отливом, и порадовался тому, что они уйдут из порта, где нет ни тракторов, ни музыкантов; свои слова он сопровождал такой ужасающей бранью, что я поспешил отойти от него.

Я вспомнил о Рэнсоне, который показался мне все-таки лучшим из всей этой шайки. Он вскоре появился и сам и, подбежав ко мне, потребовал стакан пунша. Я сказал, что этого он не получит, потому что оба мы слишком молоды для такого баловства.

— Но я могу предложить тебе стакан эля.

Он начал гримасничать, кривляться и всячески поносить меня, но все-таки с радостью согласился выпить эля. И вскоре мы, усевшись за стол в передней комнате гостиницы, стали есть и пить с большим аппетитом.

Мне пришло на ум, что не мешало бы завести дружбу с хозяином гостиницы, здешним уроженцем, и я пригласил его присоединиться к нам, как водилось в те времена, но он был слишком важен, чтобы сидеть с такими незначительными гостями, как Рэнсом и я. Он уже собирался выйти

из комнаты, но я остановил его и спросил, знает ли он мистера Ранкэйлора.

— Конечно, — ответил хозяин, — это весьма почтенный человек. И кстати, — продолжал он, — это вы пришли с Эбenezером?

Когда я сказал ему «да», он спросил:

— Вы не друг ли ему? — подразумевая, по шотландской манере, не родственник ли я ему.

Я отвечал, что нет.

— Я так и думал, — сказал хозяин, — а между тем у вас во взгляде есть что-то похожее на мистера Александра.

Я заметил, что Эбenezера здесь, кажется, недолюбливают.

— Без сомнения, — отвечал хозяин, — он злой старик, и многие желали бы его видеть в петле, например Дженет Клоустон и все, кого он разорил дотла. А между тем раньше он тоже был славным малым, до того как распространился слух о мистере Александре. С тех пор он стал совсем другим человеком.

— Что это был за слух? — спросил я.

— Да будто он убил его, — сказал хозяин. — Разве вы не слышали?

— Зачем же ему было убивать его? — спросил я.

— Зачем же, как не затем, чтобы получить имя, — сказал он.

— Имение? — спросил я. — Шоос?

— Конечно, какое же другое? — сказал он.

— О, — заметил я, — это правда? Разве мой... разве Александр был старшим сыном?

— Разумеется, — сказал хозяин. — Иначе зачем бы Эбenezеру было убивать его?

С этими словами он ушел, что, впрочем, порывался сделать с самого начала.

Положим, я уже давно об этом догадывался, но одно дело догадываться, а другое — знать наверное. Я сидел пораженный своей удачей и едва мог поверить, что тот самый бедняк, который два дня тому назад шагал по пыли из Эттрикского леса, теперь попал в богачи, что ему принадлежат дом и обширные земли и он мог бы завтра же вступить во владения ими, если бы знал, как приняться за это. Тысячи подобных приятных мыслей толпились в моей голове, пока я сидел у окна гостиницы, не обращая внимания на то, что было у меня перед глазами. Помню только, что взгляд мой остановился на капитане Хозизене, стоявшем на молу и отдававшим какие-то приказания своим матросам. Вскоре он уже шагал обратно по направлению к дому. В нем не замечалось неловкости, свойственной морякам на суше: его высокая красивая фигура была мужественна, а лицо выражало прежнее спокойствие и серьезность. Я спрашивал себя, может ли быть, чтобы Рэнсом

говорил правду, и почти не верил ему, так мало рассказы его соответствовали наружности этого человека. На самом же деле он не был ни таким хорошим, как я предполагал, ни таким дурным, каким считал его Рэнсом: в нем уживались два человека, и лучший из них исчезал, как только капитан вступал на борт своего судна.

Вскоре я услышал, что дядя зовет меня, и нашел их обоих на дороге. Капитан заговорил со мной серьезно, как с равным, что всегда очень лестно для юноши.

— Сэр, — сказал он, — мистер Бальфур очень хвалит вас, да и мне лично вы очень нравитесь. Я бы желал остаться здесь дольше, чтобы мы могли хорошенько познакомиться. Постараемся же воспользоваться тем временем, которое у нас остается. Придите на полчаса ко мне на бриг, до наступления отлива, и мы разопьем вместе бутылочку вина.

Нельзя выразить словами, как мне хотелось посмотреть на внутреннее устройство судна, но я не желал подвергаться опасности и сказал, что условился пойти с дядей к стряпчему.

— Да, да, — сказал Хозизен, — он говорил мне об этом. Но лодка высадит вас на берег у городского мола, а это в двух шагах от дома Ранкэйлора. — Он внезапно нагнулся и шепнул мне на ухо: — Берегитесь старой лисы: он замышляет

недоброе. Едемте на корабль, чтобы мне можно было переговорить с вами. — Затем, взяв меня под руку, он продолжал громко, направляясь к лодке: — Что же мне привезти вам из штатов Каролины? Друг мистера Бальфура может приказывать мне. Табак, индейские перья, мех дикого зверя, пенковую трубку, дрозда-пересмешника, который мяукает, точно кошка, или красного, как кровь, американского зяблика? Выбирайте и скажите, что вам угодно.

В это время мы подошли к лодке, и он ввел меня в нее. Я и не пробовал сопротивляться: я думал — безумец! — что нашел доброго друга и помощника, и радовался, что увижу бриг. Как только мы уселись в лодку, ее оттолкнули от мола. Я был так восхищен новизной этого переезда, так заинтересовался видом берегов и брига, выраставшего по мере того, как мы к нему приближались, и тем, что мы сидели так низко над водой, что едва понимал слова капитана и отвечал ему наобум.

Как только мы подошли к борту брига (я сидел разинув рот, изумленный вышиной судна, шумом волн, ударявшихся о его борта, и оживленными возгласами матросов за работой), Хозизен объявил, что мы оба должны первыми взойти на корабль, и приказал спустить с грот-рея тали. Меня поспешно подняли на воздух и

опустили на палубу, где капитан уже дожидался и сейчас же снова взял меня под руку. Так я стоял некоторое время, чувствуя небольшое головокружение, может быть, даже некоторый страх оттого, что все вокруг колебалось. Но все-таки мне нравились все эти новые для меня предметы; капитан обращал мое внимание на самые причудливые из них, называл их и рассказывал, для чего они предназначены.

— А где же дядя? — вдруг спросил я.

— Да, — сказал Хозизен, принимая вдруг свирепый вид, — в этом-то и вопрос.

Я понял, что погиб. Собрав все силы, я вырвался от него и подбежал к борту. Увидев лодку, направлявшуюся к городу, и дядю, сидевшего на корме, я испустил пронзительный крик: «Помогите, помогите, убивают!», огласивший обе стороны гавани. Дядя мой повернулся на своем месте, и я встретил его искаженный злобой и ужасом взгляд.



Это было последнее, что я заметил. Сильные руки оттащили меня от борта. И вдруг точно ударила молния... Я увидел вспышку света и упал без чувств.

VII. Я уйду в море на «Конвенте» из Дайзерта

Я пришел в себя в темноте и почувствовал

сильную боль во всем теле; руки и ноги мои были связаны, и множество незнакомых звуков оглушало меня. Слышался рев воды, точно у громадной мельничной плотины, раздавались тяжелые удары волн, страшный шум парусов и резкие крики матросов. Все кругом то поднималось с головокружительной быстротой, то так же быстро опускалось, а я сам был так разбит и чувствовал себя так плохо, что не мог отдать себе ясного отчета в своем положении. Мысли в беспорядке толпились в моем мозгу, пока я наконец не догадался, что лежу связанный где-то внутри этого злосчастного брига и что ветер, должно быть, усилился и начался шторм. Вместе с сознанием своего положения мною овладело мрачное отчаяние, раскаяние в своем безрассудстве и безумный гнев на моего дядю... И я еще раз лишился чувств.

Когда я снова пришел в себя, тот же рев, те же беспорядочные и сильные толчки продолжали оглушать и трясти меня. Но к моим страданиям присоединилась еще болезнь непривычного к морю человека. В дни моей юности, полной приключений, я перенес много испытаний, но ни одно из них не было так ужасно для души и тела, не было так безотраднo, как мои первые часы на бриге.

Я услышал пушечный выстрел и подумал, что, вероятно, мы не можем справиться со штормом и

подаем сигналы о помощи. Мысль об освобождении, хотя бы ценой смерти в глубине океана, обрадовала меня. Но я ошибся. Мне после сказали, что то было всегдашнее обыкновение капитана, и я рассказываю об этом, желая показать, что и худшие из людей имеют свои хорошие стороны. Оказалось, что мы проходили тогда в нескольких милях от Дайзерта, где был выстроен бриг и где несколько лет назад поселилась старая миссис Хозизен, мать капитана. И куда бы ни направлялся «Конвент», домой или в плавание, он никогда не проходил днем мимо этого места, не салютовав из пушки и не вывесив флага.

Я потерял счет времени: день не отличался от ночи в той вонючей конуре внутри корабля, где я лежал, а часы тянулись вдвое дольше обычного, потому что положение мое было безнадежно. У меня нет возможности вычислить, сколько времени я лежал, ожидая, что корабль разобьется в щепки о какой-нибудь утес или погрузится носом вперед в глубину океана. Но сон под конец лишил меня сознания моего несчастья.

Меня разбудил свет ручного фонаря, направленного мне в лицо. Небольшого роста человек, лет тридцати, с зелеными глазами и спутанными волосами, смотрел на меня.

— Ну, — спросил он, — как дела?

Я ответил ему рыданием. Он пощупал у меня

пульс и виски, а потом обмыл и перевязал рану на моей голове.

— Да, — сказал он, — удар был жестокий. Ничего, ободрись! Еще не настал конец света. Ты неудачно начал, но можешь еще поправиться. Ел ты что-нибудь?

Я сказал, что не могу и смотреть на еду. Тогда он дал мне выпить из жестяной чашки коньяку с водой и оставил меня одного.

Когда он пришел еще раз, то нашел меня в состоянии, среднем между сном и бодрствованием. Глаза мои были широко раскрыты, морская болезнь уже прошла, но оставались страшная слабость и головокружение, которые, пожалуй, были еще мучительнее. Кроме того, у меня по-прежнему болело все тело, а веревки, связывавшие меня, казались мне огненными. Отвратительный воздух конуры, в которой я лежал, казалось, стал частью меня самого. Во время его долгого отсутствия меня терзали то бесцеремонные крысы, которые иногда задевали меня по лицу, то ужасные картины, рисовавшиеся в моем лихорадочном воображении.

Когда подняли трап, свет фонаря показался мне солнечным лучом, упавшим с неба; и хотя он осветил только крепкие темные стенки корабля, служившего мне тюрьмой, я готов был закричать от радости. Первым спустился ко мне по лестнице человек с зелеными глазами, и я заметил, что он

двигался довольно неуверенно. За ним следовал капитан. Оба не произнесли ни слова, но первый стал осматривать меня и опять перевязал мою рану, а капитан бросил на меня какой-то странный, мрачный взгляд.

— Вы сами видите, сэр, — сказал первый, — сильный жар, потеря аппетита, а здесь нет ни света, ни пищи... Вы сами понимаете, что это значит.

— Я не волшебник, мистер Райэч, — сказал капитан.

— Позвольте, сэр, — сказал мистер Райэч, — у вас хорошая голова на плечах, и за словом вы в карман не полезете. Но вам нечего сказать в свое оправдание, и я хочу, чтобы мальчика взяли из этой конуры и перенесли на бак.

— Ваши желания могут остаться при вас, — ответил капитан, — и я скажу вам, что будет. Где он лежит, там и останется.

— Допустим, что вам как следует заплатили, — сказал другой, — но осмелюсь почтительнейше заявить, что я-то ничего не получил. Я получаю, и не слишком много, за то, что исправляю должность помощника капитана этой старой посудины. И вы сами знаете, что я стараюсь не получать даром денег. Больше мне ни за что не платили.

— Если бы вы только воздерживались от фляжки, мистер Райэч, я не имел бы основания

жаловаться на вас, — отвечал шкипер, — но, вместо того чтобы говорить загадками, я осмелюсь посоветовать вам приберечь свою энергию для более важного случая. Мы можем понадобится наверху, — прибавил он более резким тоном и занес одну ногу на лестницу.

Мистер Райэч поймал его за рукав.

— Допустим, что вам заплатили за убийство, — начал он.

Хозизен, вспыхнув, повернулся к нему.

— Что такое? — закричал он. — Это что за разговоры?

— Мне кажется, это тот разговор, который вы лучше всего понимаете, — отвечал мистер Райэч, глядя ему прямо в лицо.

— Мистер Райэч, я был с вами в плавании три раза, — отвечал капитан. — За это время, сэр, вам следовало бы узнать меня: я жестокий и непреклонный человек, но то, что вы только что сказали — стыдитесь! — доказывает, что у вас злое сердце и гнусная совесть. Если вы думаете, что мальчишка умрет...

— Умрет! — ответил мистер Райэч.

— Ну, сэр, довольно с вас, — сказал Хозизен. — Тащите его куда хотите.

С этими словами капитан стал подниматься по лестнице. Я лежал молча во время их странного разговора и потом увидел, как мистер Райэч

повернулся вслед Хозизену и поклонился ему чуть ли не до земли, очевидно в насмешку. Несмотря на свою болезнь, я заметил, во-первых, что помощник был пьян, как сказал капитан, а во-вторых, что он (в пьяном и трезвом виде) мог быть другом.

Через пять минут веревки на мне были перерезаны, меня подняли на чью-то спину, отнесли на бак и положили на деревянную скамью на кучу одеял. И я тут же лишился чувств.

Какое блаженство открыть глаза при дневном свете и увидеть, что находишься в обществе людей! Каюта на баке была довольно большая; вдоль стен ее тянулись койки, на которых сидели и курили или же спали матросы, свободные от вахты. День был тихий, с теплым ветром, и поэтому люк был открыт. В каюту попадал не только дневной свет, но время от времени, при поворотах корабля, и пыльный солнечный луч, ослеплявший и восхищавший меня. К тому же, как только я пошевелился, один из матросов принес мне какое-то целебное питье, составленное мистером Райэчем, и велел лежать смирно, говоря, что тогда только я скоро поправлюсь.

— У тебя ничего не сломано, — объяснил он, — а рана на голове — пустяки. Это я ударил тебя, — прибавил он.

На баке я пролежал долгие дни под неусыпным надзором и не только поправился, но и

познакомился со своими товарищами. Это было сборище грубых людей. Оторванные от всего, что в жизни есть самого лучшего, матросы обречены были вместе качаться на бурных волнах под командой не менее грубого начальства. Одни из них прежде плавали с пиратами и видали дела, о которых и говорить совестно. Другие сбежали с королевских судов и были приговорены к виселице, чего они ничуть не скрывали, и все они при удобном случае готовы были вступить врукопашную со своими лучшими друзьями. Но после того как я провел с ними несколько дней, мне стало стыдно моего первоначального суждения о них и того, что я поспешил уйти от них на молу в Куинзферри, точно они были нечистые животные. Нет людей совершенно дурных: у каждого есть свои достоинства и недостатки, и мои товарищи по плаванию не были исключением из этого правила. Правда, они отличались грубостью и были, по всей вероятности, дурные люди, но и у них замечались хорошие черты. Иногда они бывали очень добры, наивны, как деревенские парни, похожие на меня, и удивлявшие проблесками своей честности.

Один из них, человек лет сорока, часами просиживал у моей койки, рассказывая мне о своей жене и детях. Он был рыбаком, но лишился лодки, и это заставило его отправиться в открытое море. С тех пор прошло уже много лет, но я не забыл его.

Жена — он говорил, что сравнительно с ним она была молода, — напрасно ждала его возвращения: он никогда больше не будет разводить по утрам ей огонь и нянчить ребенка, если она заболит. В действительности, как показало будущее, многие из этих бедняков совершали свое последнее плавание: их поглотило потом море и акулы. А о мертвых не следует говорить дурное... Среди прочих их добрых дел было и то, что они возвратили мне деньги, которые сначала разделили между собой, и, хотя они уменьшились почти на целую треть, я все-таки очень обрадовался им в надежде, что они пригодятся мне в стране, куда я плыл. Бриг направлялся к Каролине, и вы не должны думать, что я ехал туда только в качестве изгнанника. Хотя торговля людьми уже и тогда была значительно ограничена, а с тех пор, после восстания колоний и образования Соединенных Штатов, понятно, совсем пришла к концу, но в дни моей юности белых людей еще продавали в рабство на плантации, и к этой-то участи приговорил меня злой дядя.

Юнга Рэнсом, от которого я впервые узнал обо всех этих ужасах, время от времени выходил из капитанской каюты, где он спал и прислуживал, и то безмолвно покназывал на следы нанесенных ему побоев, то проклинал жестокого мистера Шуэна. Сердце мое обливалось кровью при этом, но матросы относились с глубоким почтением к

старшему помощнику капитана, который, как они говорили, был «единственным моряком во всей компании и вовсе не дурным человеком, когда бывал трезв». Действительно, я заметил странные особенности у наших обоих помощников: мистер Райэч бывал не в духе, груб и резок в трезвом состоянии, а мистер Шуэн и мухи не мог обидеть, пока не напьется. Я спросил про капитана, но мне сказали, что этот железный человек не меняется от выпивки.

Я старался как можно лучше использовать малое время, имевшееся в моем распоряжении, чтобы сделать из несчастного Рэнсома что-нибудь похожее на человека или, вернее, на мальчика. Но разум его с трудом можно было назвать человеческим. Из всего того, что предшествовало его поступлению на корабль, он помнил лишь, что отец его делал часы и что в гостиной у них висел скворец, насвистывавший песню «Северная страна». Все остальное стерлось из его памяти за годы тяжелой работы и грубого обращения с ним. У него были странные понятия о суше, составившиеся на основании рассказов матросов; по его мнению, это было место, где мальчиков отдавали в рабство, которое называлось ремеслом, где учеников постоянно колотили и заключали в смрадные тюрьмы. В городе он почти каждого встречного принимал за обманщика, расставляющего людям

ловушки, а половину домов — за притоны, где матросов отравляют и убивают. Я, конечно, рассказывал Рэнсому, как хорошо со мной обращались на суше, которой он так боялся, и о моих родителях, и о друзьях, и о том, как сытно меня кормили и тщательно обучали.

Если случалось, что его перед тем били, он горько плакал и клялся, что сбежит, но когда он бывал в своем обыкновенном сумасшедшем настроении или — еще того чаще — когда он выпивал стакан водки в каюте, то поднимал меня на смех.

Его учил пить мистер Райэч — да простит ему бог! — и, без сомнения, с добрым намерением. Не говоря уже о том, что спирт разрушал здоровье мальчика, вид этого несчастного, одинокого ребенка, который покачивался, приплясывал и болтал бог весть что, был достоин жалости.

Некоторые матросы смеялись, глядя на него, но не все; другие становились мрачнее тучи (думая, вероятно, о собственном детстве и о своих детях), приказывая ему бросить эти глупости и подумать о том, что он делает. Что же касается меня, то мне было совестно смотреть на него, и теперь еще я часто вижу во сне этого несчастного ребенка.

Надо заметить, что ветер был все время противный, а встречное течение бросало «Конвент» то вверх, то вниз так, что люк был почти постоянно

закрыт, и наша каюта освещалась только фонарем, висевшим на перекладине. Работы всегда было много для всех: паруса приходилось то ставить, то убавлять каждую минуту. Напряжение отзывалось на настроении команды: целый день, с утра и до вечера, слышался шум ссор. А так как мне не позволяли ступить на палубу, то вы можете себе представить, как надоела мне эта жизнь и с каким нетерпением я ждал перемены...

Перемена эта произошла, как вы сейчас услышите, но прежде я должен рассказать о разговоре своем с мистером Райэчем, который придал мне немного бодрости в моих бедствиях. Поймав его в легкой стадии опьянения (в трезвом виде он никогда не заглядывал ко мне), я взял с него слово хранить мою тайну и рассказал ему свою историю.

Он объявил, что мой рассказ похож на балладу, но обещал сделать все возможное, чтобы помочь мне. Он велел мне достать бумагу, перо и чернила, чтобы я написал мистеру Кемпбеллу и мистеру Ранкэйлору, и уверял, что если я говорю правду, то с их помощью почти наверняка сумеет выручить меня из опасности и восстановить в правах.

— А пока, — сказал он, — не падай духом. Не с тобой первым это случается, поверь мне. Великое множество людей, возделывающих за морем табак,

должны были бы садиться на лошадь у дверей собственного дома. Жизнь, в лучшем случае, полна неожиданных перемен. Посмотри на меня: я сын лорда, почти выдержал экзамен на доктора, а вот служу помощником у Хозизена!

Я из вежливости спросил про его историю.

Он громко свистнул.

— У меня ее никогда не было, — сказал он — Я люблю пошутить, вот и все. — С этими словами он выскочил из каюты.

VIII. Капитанская каюта

Однажды вечером, около девяти часов, матрос, бывший на вахте с мистером Райэчем, спустился вниз за курткой. Вслед за ним по баку распространилась весть, что Шуэн наконец доконал его. Не было надобности называть имя: мы все знали, о ком шла речь. Едва успели мы освоиться с этой новостью и поговорить о ней, как люк снова открылся, и теперь уже капитан Хозизен спустился к нам по лестнице. Он пристально осмотрел койки при мерцающем свете фонаря, затем, подойдя прямо ко мне, заговорил, к моему удивлению, довольно ласково.

— Ты нужен нам, любезный, — сказал он, — чтобы прислуживать в каюте. Ты обменяешься местами с Рэнсомом. Ступай скорей!

Пока он говорил, в люке появилось двое матросов с Рэнсомом на руках. В эту минуту корабль сильно нырнул, фонарь заколебался, и свет его упал прямо на мальчика: на его побелевшем как воск лице застыла ужасная улыбка. Кровь во мне похолодела и дыхание остановилось, точно меня поразил удар.

— Ступай на кормовую часть! Ступай скорей! — закричал Хозизен.

И я, прошмыгнув мимо матросов и безмолвного, неподвижного мальчика, взбежал по лестнице на палубу.

Корабль быстро прорезал длинную волну с белым гребнем. Она наваливалась на него с правого галса, а с левой стороны я мог видеть яркий солнечный закат под дугообразным основанием фок-сейла. В ночной час это чрезвычайно удивило меня, но я знал слишком мало, чтобы вывести верное заключение, что мы обходили с севера Шотландию и находились теперь в открытом море между Оркнейскими и Шотландскими островами, избегнув опасных течений Пентландской бухты. Проведя столько времени в потемках и ничего не зная о противных ветрах, я вообразил, что мы уже прошли полпути или даже более по Атлантическому океану. И, удивившись позднему закату, я сейчас же перестал думать об этом, прыгая с палубы на палубу, пробегая между парусами,

хватаясь за канаты, и упал бы, если бы меня не удержал матрос, который всегда выказывал мне большое расположение.

Капитанская каюта, где я должен был отныне прислуживать и спать, возвышалась на шесть футов над палубами и сравнительно с величиной брига была обширных размеров. Внутри стояли прикрепленные к полу стол, скамейка и две койки: одна для капитана, а другая для двух старших помощников, которые спали на ней по очереди. Сверху донизу к стенам были приделаны запирающиеся шкафчики, куда прятались вещи начальствующих лиц и часть запасов судна. Внизу была другая кладовая, в которую вел люк, находившийся посередине палубы: там хранились главные запасы пищи, питья и весь порох. Все огнестрельные орудия, кроме двух медных пушек, стояли на козлах у задней кормовой стены капитанской каюты. Большинство кортиков было в другом месте.

Маленькое окошко с наружными и внутренними ставнями и светлый люк на потолке освещали каюту днем, а после наступления сумерек в ней всегда горела лампа. Она горела и в ту минуту, когда я вошел, не особенно ярко, но достаточно, чтобы увидеть мистера Шуэна, сидевшего за столом, на котором стояли бутылка коньяку и жестяная манерка. Это был высокий,

крепко сложенный и очень смуглый человек. Он сидел, бессмысленно уставясь на стол.

Мистер Шуэн не обратил внимания на мой приход и даже не шевельнулся, когда затем вошел капитан и прислонился к койке рядом со мной, мрачно глядя на своего помощника. Я очень боялся Хозизена, имея на то основательные причины, но что-то подсказало мне, что в эту минуту мне нечего опасаться его, и я шепнул капитану на ухо: «Что с ним?» Он покачал головой, как человек, который не знает, что и подумать, между тем как лицо его не изменяло своего сурового выражения.

Вскоре пришел мистер Райэч. По его взгляду, брошенному на капитана, можно было без слов понять, что мальчик умер. Он стал рядом с нами, и мы втроем молча смотрели на мистера Шуэна, который все так же сидел, не говоря ни слова и упорно глядя на стол.

Внезапно он протянул руку за бутылкой. Тут мистер Райэч шагнул вперед и отнял ее, что ему удалось не столько благодаря своей силе, сколько быстроте, с какой он это сделал. Он закричал, разразившись проклятиями, что и без того уже достаточно сделано зла, и побожился, что бриг понесет за это наказание. С этими словами он вышвырнул бутылку в море — выдвижная дверь была открыта с наветренной стороны.

Мистер Шуэн мигом вскочил на ноги. Его

рассудок все еще был помрачен, и он совершил бы второе убийство в этот же вечер, если бы капитан не стал между ним и его жертвой.

— Садитесь! — заорал капитан. — Знаете ли, что вы сделали, свинья и пьяница? Вы убили мальчишку!

Мистер Шуэн, казалось, понял, потому что снова сел и положил руку себе на лоб.

— Но ведь он принес мне грязную манерку! — воскликнул он.

При этих словах я, мистер Райэч и капитан переглянулись с некоторым страхом во взгляде. Затем Хозизен подошел к старшему помощнику, взял его за плечи, довел до койки и приказал ему лечь и заснуть, уговаривая его, как непослушного ребенка. Убийца немного похныкал, затем сиял свои непромокаемые сапоги и послушно улегся.

— А, — воскликнул мистер Райэч ужасным голосом, — вам давно следовало вмешаться! Теперь уже слишком поздно.

— Мистер Райэч, — сказал капитан, — в Дайзерте никому не должно быть известно, что случилось в этот вечер. Мальчишка упал за борт, сэр, вот как было дело! И я бы охотно дал собственных пять фунтов, чтобы это было правдой! — Он повернулся к столу. — Зачем вы выбросили хорошую бутылку? — прибавил он. — В этом не было никакого смысла, сэр. Давид,

достань мне другую бутылку. Они стоят в крайнем шкафчике. — И он бросил мне ключ. — Вам самим надо выпить стаканчик, сэр, — обратился он к Райэчу, — после того ужасного зрелища.

Оба сели и чокнулись. А преступник, который лежал на койке и стонал, в это время приподнялся и посмотрел на них и на меня.

В этот вечер я в первый раз приступил к своим новым обязанностям, а на следующий день уже совершенно освоился с ними.

Я должен был подавать пищу, которую капитан принимал в определенные часы с тем из помощников, который не был на дежурстве. Весь день мне приходилось бегать с бутылкой от одного к другому из моих трех начальников, а ночью я спал на морском одеяле, брошенном на крашеные доски в ближайшем к корме углу каюты, на самом сквозняке между двумя дверьми. Это была жесткая и холодная постель; кроме того, мне не давали спать без перерыва: постоянно кто-нибудь приходил с палубы выпить, а когда назначалось новое дежурство, все трое усаживались вместе распить стаканчик. Я не могу понять, как они оставались здоровыми и как оставался здоровым я сам.

Но в других отношениях служба эта была легкая: скатерти не постилались, еда состояла из овсяной каши или солонины, но два раза в неделю

бывал пудинг.

Хотя я был довольно неуклюж и по непривычке к морю нетвердо держался на ногах, так что иногда падал с кушаньем, которое нес, капитан и мистер Райэч были удивительно терпеливы. Я не мог не думать, что их мучит совесть и что вряд ли они были бы так снисходительны ко мне, не обращайся они раньше так жестоко с Рэнсомом.

Что же касается мистера Шуэна, то пьянство, а может быть, совершенное им преступление или то и другое вместе несомненно повредили его рассудок. Я не могу припомнить, чтобы видел его когда-нибудь в нормальном состоянии. Он никак не мог привыкнуть к моему присутствию, не отрывая глаз, глядел на меня — иногда мне казалось, что даже с ужасом, — и несколько раз отшатнулся, когда я ему подавал. С самого начала я был почти уверен, что он не отдает себе отчета в том, что произошло, и на второй день своего пребывания в капитанской каюте убедился в этом. Мы были одни, и он долгое время пристально смотрел на меня, потом вдруг встал, бледный, как смерть, и, к моему великому ужасу, подошел ко мне. Но у меня не было причины бояться его.

— Тебя здесь прежде не было? — спросил он.

— Нет, сэр, — сказал я.

— Здесь был другой мальчик? — спросил он

опять; и, когда я подтвердил это, сказал: — Да, я так и думал, — и, не говоря больше ни слова, сел обратно и потребовал коньяку.

Вам, может быть, покажется странным, что, несмотря на весь мой ужас, мне было все-таки жаль его. Он был женат, и жена его жила в Лидсе. Я забыл теперь, были ли у него дети; надеюсь, что нет.

Во всяком случае, жизнь моя в новом положении — она, как увидите, продолжалась недолго — была не слишком тяжела. Кормили меня так же, как и мое начальство; мне даже позволяли брать пикули — их самое изысканное блюдо, — и если б я только захотел, то мог бы напиться с утра до вечера, как мистер Шуэн. У меня было общество, и сравнительно хорошее общество; мистер Райэч, учившийся некогда в колледже, со мной беседовал как с другом, когда бывал в веселом настроении, и сообщал мне много интересного и поучительного, а капитан хоть и не подпускал обычно меня к себе, но иногда бывал менее сдержанным и рассказывал о прекрасных странах, в которых ему приходилось бывать.

Тень бедного Рэнсома лежала на всех, но особенно тяжело на мне и мистере Шуэне. Кроме того, у меня были собственные тревоги. В настоящее время я выполнял грязную работу для троих людей, которых считал ниже себя (по

крайней мере, один из них должен был болтаться на виселице); а в будущем я представлял себя невольником, работающим наряду с неграми на табачной плантации. Мистер Райэч, может быть из предосторожности, не позволял мне больше говорить о моей истории; капитан же, с которым я пытался сблизиться, оттолкнул меня, как собаку. С каждым днем я все больше и больше падал духом, пока наконец не стал радоваться работе, заглушавшей мои думы.

IX. Человек с поясом, полным денег

Прошло более недели, и неудача, не оставлявшая до сих пор «Конвент», стала преследовать его еще сильнее. Иногда корабль немного продвигался вперед; в другие дни его относил назад. Наконец бриг отнесло так далеко к югу, что весь девятый день его швыряло взад и вперед в виду мыса Рез и его диких скалистых берегов. Состоялся совет начальников, и они приняли решение, которое я тогда не мог хорошенько понять, и увидел только его результаты: мы обратили противный ветер в попутный и быстро пошли к югу.

На десятый день, после полудня, волна стала спадать; густой, мокрый белый туман скрывал один конец судна от другого. Пошли на палубу. Я видел,

как матросы и начальники к чему-то чутко прислушивались. «Нет ли буруна?» — говорили они. И хотя я не понимал этого слова, но опасность, которая чувствовалась в воздухе, возбуждала меня.

Часов около десяти вечера я подавал ужин мистеру Райэчу и капитану, как вдруг бриг обо что-то сильно ударился, и мы услышали пронзительные крики. Оба моих начальника вскочили.

— Мы на что-то налетели, — сказал мистер Райэч.

— Нет, сэ, — отвечал капитан, — мы только опрокинули лодку.

И они поспешно вышли.



Капитан был прав. Мы в тумане натолкнулись на лодку; она разбилась и пошла ко дну со всей командой, кроме одного человека. Этот человек, как я слышал впоследствии, помещался на корме в качестве пассажира, тогда как остальные сидели на банках и гребли. В момент удара корму подбросило в воздух, а человек — руки его были свободны, и ему ничто не мешало, кроме суконного плаща, спускавшегося ниже колен, — подпрыгнул и

ухватился за бушприт корабля. То, что он сумел так спастись, говорило об его удачливости, ловкости и необыкновенной силе. А между тем, когда капитан повел его к себе в каюту и я впервые увидел его, он казался взволнованным не более моего.

Это был небольшого роста, но хорошо сложенный человек, подвижный, как коза; его приятное открытое лицо, очень загоревшее на солнце, было покрыто веснушками и сильно изрыто оспой. В его глазах, необыкновенно ясных, мелькало что-то безумное, привлекательное и в то же время тревожное. Сняв плащ, он положил на стол пару прекрасных пистолетов, выложенных серебром, и я увидел, что к поясу его пристегнута длинная шпага. Манеры его были изящны, и он очень любезно отвечал капитану. При первом же взгляде на него я подумал, что приятнее иметь его другом, чем врагом.

Капитан, со своей стороны, тоже сделал заключение, но скорее относительно одежды, чем личности этого человека. И действительно, когда тот снял плащ, то оказался чрезвычайно нарядным для каюты торгового судна: на нем была шляпа с перьями, красный жилет, черные плисовые панталоны и синий кафтан с серебряными пуговицами и красивым серебряным галуном. Это была дорогая одежда, хотя и попорченная немного туманом и в которой ему, очевидно, приходилось

спать.

— Я очень огорчен гибелью вашей лодки, сэр, — сказал капитан.

— С ней пошло ко дну несколько славных людей, — сказал незнакомец. — Мне больше хотелось бы видеть их на берегу, чем два десятка лодок.

— Они ваши друзья? — спросил Хозизен.

— У вас нет таких друзей, — отвечал он, — они готовы были умереть за меня, как собаки.

— Ну, сэр, — сказал капитан, наблюдая за ним, — на свете больше людей, чем лодок для них.

— Это тоже верно, — воскликнул незнакомец, — и вы очень проникательны, сэр!

— Я был во Франции, сэр, — сказал капитан. И было ясно, что он хочет сказать этим больше, чем значили его слова.

— Что ж удивительного, сэр, — отвечал тот, — много народу побывало там.

— Без сомнения, сэр, — сказал капитан, — ради красивого мундира.

— О! — сказал незнакомец. — Так вот о чем идет речь. — И он быстро положил руку на пистолеты.

— Не будьте так запальчивы, — сказал капитан, — не начинайте ссоры, пока в ней нет надобности. На вас мундир французского солдата, а говорите вы по-шотландски, но теперь много

честных людей, которые так поступают, и я нисколько не осуждаю их.

— Да, — сказал господин в красивом мундире. — Так вы принадлежите к честной партии? (Он имел в виду партию якобитов,⁴ потому что во всякого рода междоусобицах каждая партия считает, что название «честная» принадлежит только ей.)

— Я истый протестант, сэр, — отвечал капитан, — и благодарю бога за это. (Я в первый раз услышал, чтобы он говорил о религии, хотя после узнал, что на берегу он усердно посещал церковь.) Но, несмотря на это, я умею жалеть, когда вижу человека, прижатого к стене.

— Правда? — спросил якобит. — Хорошо, сэр. Сказать вам откровенно, я один из тех честных джентльменов, которые участвовали в восстании в сорок пятом и сорок шестом годах.⁵ И, попадись я в руки господ в красных мундирах,⁶ мне, вероятно,

⁴ Якобитами называли приверженцев шотландской династии Стюартов, по имени последнего ее короля Якова II

⁵ Речь идет о самом крупном и последнем восстании шотландских якобитов (1745–1746), пытавшихся возвести на английский престол внука Якова II, Карла Эдуарда Стюарта

⁶ Английские солдаты ходили в красных мундирах

пришлось бы туго. Сэр, я направлялся во Францию. Французский корабль крейсировал здесь, чтобы взять меня, но он прошел мимо нас в тумане, как я от всей души желал бы, чтобы прошли вы! И вот что я имею сказать вам: если вы высадите меня там, куда я направлялся, то деньги, которые у меня с собой, щедро вознаградят вас за беспокойство.

— Во Франции? — сказал капитан. — Нет, сэр, этого я не могу сделать. Но высадить вас там, откуда вы едете, — это другое дело.

Тут, к несчастью, капитан увидел, что я стою в своем углу, и отослал меня на кухню принести ужин джентльмену. Я не терял времени, уверяю вас. А когда я вернулся в каюту, то увидел, что джентльмен снял пояс с деньгами и положил на стол одну или две гиней. Капитан поглядел на гиней, затем на пояс, потом на лицо джентльмена и, как мне казалось, разволновался.

— Половину этого, — закричал он, — и я ваш!

Тот убрал гиней в пояс и снова надел его на жилет.

— Я сказал вам, сэр, — ответил он, — что ни один грош не принадлежит мне. Они принадлежат вождю клана. — Тут он дотронулся до своей шляпы. — Было бы глупо с моей стороны пожалеть

часть денег, необходимых для спасения всей суммы, но я был бы собакой, если бы продал свою шкуру слишком дорого. Тридцать гиней, если вы посадите меня на ближний берег, или шестьдесят, если вы доставите меня в Линни-Лох. Берите их, если хотите. Если нет, поступайте как знаете.

— Гм... — сказал Хозизен, — а если я выдам вас солдатам?

— Вы останетесь только в убытке, — ответил незнакомец. — У моего вождя, позвольте мне сказать вам, сэръ, все конфисковано, как у всякого честного человека в Шотландии. Имение его в руках человека, которого называют королем Георгом; чиновники собирают арендную плату или, вернее, стараются собрать ее. Но, к чести Шотландии, бедные арендаторы заботятся о вожде своего клана, находящемся в изгнании, и эти деньги — часть той арендной платы, которую ждет король Георг. Сэръ, вы кажетесь мне человеком разумным: если вы отдадите эти деньги своему правительству, сколько вы получите?

— Очень мало, конечно, — ответил Хозизен и язвительно прибавил: — Если только оно узнает об этом что-нибудь. Но я думаю, что если постараться, то можно придержать язык за зубами.

— О, но я сумею вывести вас на чистую воду! — воскликнул джентльмен. — Обманете меня, и я перехитрю вас. Если меня арестуют, то

узнают, что это были за деньги.

— Хорошо, — сказал капитан, — чему быть, того не миновать. Шестьдесят гиней, и дело с концом! Вот вам моя рука.

— А вот моя, — ответил незнакомец.

После этих слов капитан вышел (что-то очень торопливо, подумал я) и оставил меня в каюте одного с незнакомцем.

В то время — вскоре после сорок пятого года — многие эмигранты с опасностью для жизни возвращались на родину, чтобы повидаться с друзьями или собрать себе немного денег. Что же касается вождей горных кланов, имения которых были конфискованы, то часто приходилось слышать, как арендаторы всячески урезывали себя во всем, чтобы доставлять им средства к жизни. Собирая эти деньги и провозя их через океан, члены кланов не боялись солдат и подвергались риску попасться королевскому флоту. Обо всем этом я, конечно, слышал, а теперь мне довелось собственными глазами увидеть человека, осужденного за все эти проступки. Но он не только бунтовал и контрабандой провозил арендные деньги, но еще поступил на службу к французскому королю Людовику и, точно этого было недостаточно, носил на себе пояс, наполненный золотом. Каковы бы ни были мои убеждения, я не мог смотреть на этого человека иначе, как с

большим интересом.

— Итак, вы якобит? — спросил я, ставя перед ним кушанье.

— Гм... — сказал он, принимаясь за еду. — А ты, судя по твоему длинному лицу, вероятно, виг?⁷

— Ни то ни се, — сказал я, чтобы не раздражать его, потому что на самом деле я был виг, насколько этого сумел достигнуть мистер Кемпбелл.

— А это ничего... — сказал он. — Но послушайте, господин «ни то ни се», в этой бутылке ничего нет, — добавил он. — Было бы несправедливо брать с меня шестьдесят гиней и еще отказывать в выпивке.

— Я пойду спросить ключ, — сказал я и спустился на палубу.

Туман был все такой же густой, но волнение почти улеглось. Корабль лег в дрейф, так как никто не знал, где именно мы находимся, а ветер, хоть и незначительный, был нам не попутен. Несколько человек еще прислушивались к буруну, но капитан и оба помощника были в шкафуте и о чем-то совещались. Не знаю, почему мне пришло в голову, что они замыслили что-то недоброе, но первые

⁷ Вигами тогда называли приверженцев английского короля Георга

услышанные мною слова, когда я тихонько к ним подошел, подтвердили мое предположение.

То был возглас мистера Райэча, которого точно осенила внезапная мысль:

— Нельзя ли нам хитростью выманить его из каюты?

— Лучше будет, если он останется там, — отвечал Хозизен, — там слишком мало места, чтобы он смог прибегнуть к своей шпаге.

— Положим, это правда, — сказал Райэч, — но там до него трудно добраться.

— Пустяки, — заметил Хозизен, — мы можем вовлечь его в разговор, потом подойдем к нему по одному с каждой стороны и схватим его за руки или, если это будет неудобно, сэр, вбежим в обе двери и справимся с ним, прежде чем он опомнится.

При этих словах меня охватил страх и гнев против вероломных, жадных, жестоких людей, с которыми я плавал. Первой моей мыслью было убежать, потом я стал смелее.

— Капитан, — сказал я, — этот господин просит выпить, а в бутылке ничего нет. Дайте мне, пожалуйста, ключ!

Они вздрогнули и повернулись ко мне.

— Вот нам случай достать оружие! — закричал Райэч и, обращаясь ко мне, прибавил: — Послушай, Давид, ты знаешь, где лежат пистолеты?

— Да, да, — вставил Хозизен, — Давид знает!

Давид хороший малый. Видишь ли, этот дикий гайлэндер⁸ опасен для судна, не говоря уже о том, что он отъявленный враг короля Георга, да хранит его бог!

Никогда еще меня так не задабривали с тех пор, как я был на бриге. Я отвечал «да», как будто все, что я слышал, было совершенно естественно.

— Трудность состоит в том, — кончил капитан, — что все наше кремневое оружие, крупное и мелкое, находится в каюте, под носом у этого человека, и порох также. Если бы я или один из моих помощников пошли за ним, у гайлэндера возникли бы подозрения. Но мальчуган, подобный тебе, Давид, может незаметно стащить рог пороху и один или два пистолета. И если ты обделаешь это умно, то я припомню все, когда ты будешь нуждаться в друге, а это случится, когда мы приедем в Каролину.

Тут мистер Райэч что-то шепнул ему.

— Совершенно верно, сэр, — сказал капитан и, обращаясь ко мне, продолжал: — И вот еще что, Давид, у того человека пояс полон золота, и я даю тебе слово, что и на твою долю перепадет кое-что.

Хотя у меня едва хватало духу говорить с ним, я все-таки ответил, что исполню его желание. После

⁸ Гайлэндер — житель горной части Шотландии

того он дал мне ключ от шкафа со спиртными напитками, и я медленно направился к каюте. Что мне было делать? Это были собаки и воры: они выкрали меня с родины, убили бедного Рэнсома... Неужели я должен был стать соучастником еще одного убийства?! Но, с другой стороны, меня удерживал страх неминуемой смерти: что могли сделать один мужчина и мальчик против всего экипажа судна, даже если бы они были храбры как львы?

Рассуждая таким образом, но не придя ни к какому решению, я вошел в каюту и увидел якобита, сидевшего под лампой за ужином. И я сразу понял, что нужно делать. Никакой заслуги с моей стороны не было: я не по своему выбору, а как бы движимый какой-то невидимой силой подошел прямо к столу и положил руку на плечо незнакомцу.

— Вы не боитесь смерти? — спросил я.

Он вскочил на ноги, и во взгляде его я прочел вопрос.

— О, — воскликнул я, — они здесь все убийцы! Все судно полно убийц! Они уже убили мальчика. Теперь хотят убить вас.

— Ну, ну, — сказал он, — я пока еще не в их руках. — Затем с любопытством взглянул на меня. — Ты на моей стороне? — спросил он.

— Да, — ответил я — Я не вор и не убийца. Я

буду помогать вам.

— Хорошо, — сказал он, — как тебя зовут?

— Давид Бальфур, — сказал я. Затем, думая, что человеку в такой изящной одежде должны нравиться знатные люди, я в первый раз прибавил: — Из Шооса.

Ему и в голову не пришло не поверить мне: гайлэндеры привыкли видеть знатных дворян в нищете, но так как у него не было собственного поместья, то слова мои раздражили его ребяческое тщеславие.

— Моя фамилия Стюарт, — сказал он, приосанившись. — Они меня зовут Алан Брек. С меня достаточно моего королевского имени, хотя я и не прицепляю к нему названия какой-нибудь фермы.

И, поставив меня на место, точно это было делом первой важности, он принялся рассматривать наши средства борьбы.

Капитанская каюта была выстроена настолько прочно, чтобы противостоять ударам волн. Из ее пяти отверстий только люк и обе двери были настолько велики, чтобы пропустить человека. Двери, кроме того, можно было плотно задвинуть; они были сделаны из толстых дубовых досок и снабжены крючками, чтобы держать их открытыми или закрытыми, смотря по надобности. Одну дверь, уже закрытую, я укрепил таким образом. Но когда я

хотел прокрасться к другой, Алан остановил меня.

— Давид, — сказал он, — я не могу припомнить названия твоего поместья и потому осмеливаюсь называть тебя Давидом... Открытая дверь — лучшая моя защита.

— Лучше было бы закрыть ее, — сказал я.

— Нет, Давид, — сказал он. — Видишь ли, пока эта дверь открыта и я стою лицом к ней, то большая часть моих врагов будет передо мной, а там-то я и желаю их видеть.

Потом он достал для меня с козел кортик (кроме пистолетов, там было несколько кортиков), который выбирал очень внимательно, качая головой и говоря, что он никогда не видел такого плохого оружия. Затем посадил меня к столу и дал мне рог с порохом, сумку с пулями и все пистолеты, которые и велел зарядить.

— И это, уверяю тебя, будет более подходящей работой для джентльменов хорошего происхождения, — сказал он, — чем чистить посуду и подавать водку шайке измазанных дегтем матросов.

Затем он встал на середину каюты, лицом к двери, и, вытащив свою шпагу, подвергнул испытанию то пространство, на котором ему придется действовать.

— Мне останется работать одним острием, — сказал он, тряхнув головой, — и это очень жаль. Я

не могу проявить своего таланта, состоящего в верхней обороне. А теперь продолжай заряжать пистолеты и наблюдай за мной.

Я сказал ему, что буду внимательно слушать. Я с трудом дышал, во рту у меня пересохло, свет померк и глазах. Когда я думал о той массе людей, которые вскоре набросятся на нас, сердце мое трепетало, и мысль о море, омывавшем борта нашего брига, — о море, в которое еще до утра будет брошено мое мертвое тело, не выходила у меня из головы.

— Прежде всего, — сказал Алан, — сколько у нас противников?

Я стал считать, и в голове моей была такая сумятица, что мне пришлось два раза делать сложение.

— Пятнадцать, — сказал я. Алан свистнул.

— Что ж, — заметил он, — этого не изменишь. А теперь слушай внимательно. Мое дело — охранять дверь, откуда я жду главного нападения. В этом ты не участвуешь. Смотри не стреляй в эту сторону, пока я не упаду, потому что мне приятнее иметь десять врагов впереди, чем одного такого друга, как ты, стреляющего мне в спину из пистолета.

Я признался ему, что действительно я плохой стрелок.

— Прекрасно сказано, — сказал он,

восхищаясь моей откровенностью. — Немногие решились бы сознаться в этом.

— Но, сэр, — заметил я, — сзади вас дверь, которую они могут сломать.

— Да, — отвечал он, — и это входит в твои обязанности. Как только пистолеты будут заряжены, ты должен влезть на койку, ближайшую к окну, и, если они дотронутся до двери, стреляй. Но это не все. Будь хоть сколько-нибудь солдатом, Давид! Что тебе еще надо охранять?

— Люк, — сказал я. — Но, право, мистер Стюарт, нужно иметь глаза и на затылке, чтобы охранять и дверь и люк, потому что когда я нахожусь лицом к дверям, то повертываюсь спиной к люку.

— Это совершенная правда, — сказал Алан, — но разве у тебя нет ушей?

— Конечно! — воскликнул я. — Я услышу, как разобьется стекло!

— В тебе есть некоторая доля здравого смысла, — свирепо ответил Алан.

Х. Осада капитанской каюты

Мирное положение скоро кончилось. На палубе ждали моего возвращения, пока терпение у них не лопнуло. Не успел Алан сказать последнее слово, как капитан показался в открытой двери.

— Стой! — закричал Алан и направил на него шпагу. Капитан остановился, но не дрогнул и не отступил ни на шаг.

— Обнаженная шпага? — сказал он. — Странная плата за гостеприимство.

— Видите вы меня? — спросил Алан. — Я королевского рода, я ношу имя королей. В моем гербе — дуб. Видите вы мою шпагу? Она отрубила головы большому числу вигов, чем у вас пальцев на ногах. Зовите свой сброд себе на помощь, сэръ, и нападайте! Чем раньше начнется стычка, тем скорее вы почувствуете эту сталь в своих внутренностях.

Капитан ничего не сказал Алану, но взглянул на меня недобрым взглядом.

— Давид, — сказал он, — я припомню это! — И звук его голоса резанул меня по сердцу.

Вслед за тем он ушел.

— Теперь, — сказал Алан, — держи ухо остро, потому что опасность близится.

Алан вытащил кинжал и держал его в левой руке, на случай, если бы нападающие вздумали пролезть под его поднятой шпагой. Я же влез на койку с целой охапкой пистолетов и с тяжелым сердцем открыл окно, которое должен был сторожить. Оттуда была видна только небольшая часть палубы — для нашей цели этого было достаточно. Волны улеглись, ветер не изменился, и паруса висели неподвижно; на бриге была

совершенная тишина. До меня донесся гул голосов. Немного погодя послышался звон стали, ударившейся о палубу. Я понял, что это раздавали кортики и один из них упал. Затем снова все стихло.

Внезапно раздался шум шагов и крик, затем послышались возгласы Алана и звук ударов. Кто-то закричал, точно его ранили. Я оглянулся через плечо и увидел в двери Шуэна, дравшегося с Аланом.

— Это он убил мальчика! — закричал я.

— Смотри за своим окном! — сказал Алан, но, поворачиваясь к окну, я увидел, как он воткнул шпагу в тело старшего помощника.

Пора было и мне принять участие в деле. Едва я успел повернуть голову к окну, как мимо меня пять человек протащили запасной рей для устройства тарана и стали устанавливать его перед дверью. Я ни разу в жизни не стрелял из пистолета и очень редко из ружья, тем более в человека. Но думать было нечего: или теперь, или никогда. Только что они раскатали рей, как я крикнул:

— Вот вам! — и выстрелил.

Я, должно быть, задел одного, потому что он застонал и отступил на шаг, а остальные остановились в некотором замешательстве. Не успели они оправиться, как вторая пуля пролетела над их головами, а при третьем выстреле вся

компания бросила рей и убежала.

Тогда я снова оглянулся и осмотрел каюту. Она была полна дыма от моих выстрелов, и сам я почти был оглушен ими. Но Алан стоял на том же месте, только шпага его была по рукоятку в крови. Он очень кичился своим триумфом и принимал такие изящные позы, что казался непобедимым. Прямо перед ним на четвереньках стоял мистер Шуэн; кровь лилась у него изо рта. В то время как я смотрел на него, стоявшие сзади схватили его за пятки и боком вытащили из каюты. Я думаю, что он умер, когда они его тащили.

— Вот вам один виг! — воскликнул Алан. Затем, обернувшись ко мне, спросил, многих ли я убил.

Я сказал, что ранил кого-то и думаю, что это был капитан.

— А я покончил с двумя, — сказал он. — Но крови еще недостаточно: они вернутся сюда. Это была только рюмка водки перед обедом.

Я вернулся на свое место, снова зарядил три пистолета, из которых стрелял, и насторожил глаза и уши.

Наши враги спорили неподалеку на палубе, и так громко, что сквозь шум прибоя я мог слышать некоторые слова.

— Шуэн испортил дело, — слышал я один голос.

Другой отвечал ему:

— Ну, любезный, он заплатил за это.

Затем голоса снова упали до неясного ропота.

Только теперь почти все время говорило одно лицо, как бы излагая свой план действий, и то один, то другой коротко отвечали ему, как люди, получавшие приказания. Поэтому я заключил, что они снова придут, о чем и сообщил Алану.

— Нам следует желать этого, — сказал он. —

Если мы не зададим им хорошего страха и не покончим с этим делом, то ни тебе, ни мне нельзя будет заснуть. Только помни, что на этот раз они будут настойчивы.

Пистолеты были готовы, и мне оставалось только слушать и ждать. Пока продолжалось нападение, мне некогда было рассуждать, боюсь я или нет, но теперь, когда все утихло, я не мог ни о чем другом думать. Мысли об острых шпагах и холодной стали не покидали меня, и, когда я слышал тяжелые шаги, шуршание одежды, прикасавшейся к стенкам каюты, я понял, что они в потемках становятся по местам, и готов был громко заплакать.

Все это происходило на той стороне, где был Алан, и я уже думал, что моя доля участия в сражении кончена, когда услышал, что кто-то тихо опустился на крышу, прямо надо мной.

Затем раздался свисток, послуживший

сигналом. Кучка матросов с кортиками в руках бросилась на дверь. В ту же минуту стекло люка разбилось, и кто-то, спрыгнув, очутился на полу каюты. Не успел он встать на ноги, как я приставил пистолет к его спине и готов был застрелить его, но, когда я дотронулся до него, живого, мужество оставило меня, и я не мог ни спустить курок, ни убежать.

Прыгая, он уронил кортик, но, почувствовав прикосновение пистолета, быстро обернулся и схватил меня, осыпая ругательствами. Мужество ли мое проснулось при этом или, напротив, то был страх, но результат получился тот же: я вскрикнул и прострелил его насквозь, он упал на пол с отвратительным, страшным стоном. Ноги другого матроса, болтавшиеся из люка, ударили меня в это время по голове. Я схватил второй пистолет и выстрелил ему в бедро. Он соскользнул вниз и как чурбан свалился на тело своего товарища. Не могло быть и речи о промахе, хотя прицеливаться мне было некогда: я стрелял в упор.

Я бы долго стоял и смотрел на упавших, но крик Алана о помощи вернул мне сознание.

До сих пор он оборонял дверь, но, пока он был занят другими, один из матросов пробежал под шпагой и схватил его за туловище. Алан наносил ему удары кинжалом левой рукой, но матрос пристал к нему как пиявка. Еще один неприятель

ворвался и занес над головой Алана кинжал. В дверях виднелось множество людей. Я подумал, что мы пропали, и, схватив свой кортик, напал на них с фланга.

Но моя помощь была уже не нужна. Противник упал. Алан, отступая назад для разбега, с ревом бросился на нападающих как разъяренный зверь. Они расступились перед ним, как вода, повернулись, выбежали и второпях попадали один на другого. Шпага в руках Алана сверкала, как ртуть, мелькая среди убегающих врагов, и при каждом ее ударе слышался крик раненого. Я еще думал, что мы пропали, а противники уже все разбежались, и Алан гнал их вдоль палубы, как собака загоняет овец.

Однако он вскоре вернулся, потому что был столь же осторожен, как храбр. А матросы продолжали бежать и кричать, точно он все еще гнался за ними. Мы слышали, как они, спотыкаясь друг о друга, спустились в каюту и захлопнули люк.

Капитанская каюта напоминала бойню: внутри лежало три трупа, а на пороге матрос мучился в предсмертной агонии. Мы с Аланом одержали победу и остались живы и невредимы.

Он подошел ко мне с протянутыми руками.

— Приди в мои объятия! — крикнул он и стал обнимать меня и крепко целовать в обе щеки. — Давид, — сказал он — я люблю тебя, как брата!

Скажи, — воскликнул он в каком-то экстазе, — разве я не хороший боец?!

Затем он обернулся к павшим врагам, проткнул каждого из них насквозь шпагой и выпихнул за дверь одного за другим. В то же время он насвистывал и напевал сквозь зубы, точно пытаясь припомнить какой-то мотив, но на самом деле он старался придумать новый. На щеках у него играл румянец, и глаза его блестели, как у пятилетнего ребенка при виде новой игрушки. Вдруг он уселся на стол со шпагой в руке; мотив, который он все время искал, становился все яснее и яснее; и вот он громко запел гэльскую песню.

Я привожу ее тут не в стихах, на которые я не способен, но, по крайней мере, на английском языке. Притом он частенько певал ее, и мало-помалу она стала популярной. Я ее слышал много раз, и мне объяснили ее значение.

Это была песнь о шпаге Алана:

Кузнец ковал ее,
Огонь закалял ее.
Теперь же она
сверкает в руках Алана
Брека.
У врага было много
глаз,
Ясных и быстрых, —

Они направляли
много рук.
Шпага была одна.
Серые олени
толпятся на холме;
Их много, а холм
один.
Серые олени
пропадают —
Холм остается.
Прилетайте ко мне с
островов океана
Далеко зрящие орлы,
Вот вам добыча!

Эта песня, которую он сложил в минуту нашей победы, и слова, и музыку, не совсем справедлива по отношению ко мне, боровшемуся рядом с ним. Мистер Шуэн и еще пятеро были нами убиты или тяжело ранены; из них двое, которые пролезли через люк, пали от моей руки. Еще четверо были ранены легче, и один из них, наиболее опасный, — мною. Так что, в общем, и я принимал участие в схватке и имел право потребовать себе места в стихах Алана. Но поэтам, как говорил мне один очень умный человек, приходится думать больше о рифмах. В разговоре же Алан отдавал мне более чем должное.

В ту пору я даже не сознавал, что была совершена несправедливость по отношению ко мне, потому что не только не знал ни слова по-гэльски, но и рад был сейчас же по окончании дела добраться до койки после долгого ожидания, напряжения и, более всего, ужасных мыслей о том, что я принимал участие в этой борьбе. От тяжести на сердце я едва дышал: воспоминание о двух убитых мною давило меня, как кошмар; и совершенно неожиданно, не отдавая себе в этом отчета, я начал рыдать и всхлипывать, как ребенок.

Алан хлопнул меня по плечу и сказал, что я храбрый малый, но что мне надо только выспаться.

— Я буду первый на страже, — сказал он, — Ты хорошо помогал мне, Давид, от начала до конца, и я не хотел бы лишиться тебя за весь Аппин, даже за весь Бредаль-бэн.

Я постелил себе на полу, а он стал на вахту с пистолетом в руке и шпагой у колена. Вахта продолжалась три часа по капитанским часам, висевшим на стене. Затем он разбудил меня, и я, в свою очередь, простоял три часа. До окончания моей вахты рассвело. Утро было очень тихое; слегка волнующееся море качало корабль, а сильный дождь барабанил по крыше. Во время моей вахты не произошло ничего интересного; по хлопанью руля я догадался, что даже никого не поставили у румпеля. Действительно, как я узнал

после, так много матросов было ранено и убито, а остальные находились в таком дурном расположении духа, что мистеру Райэчу и капитану приходилось сменяться так же, как мне с Аланом, а то бриг могло бы отнести к берегу, прежде чем кто-нибудь заметил это. К счастью, ночь стояла спокойная, потому что ветер утих, как только пошел дождь. Даже и теперь я по крику чаек, во множестве ловивших рыбу около корабля, понимал, что нас отнесло очень близко к берегу или к одному из Гебридских островов. Наконец, выглянув из двери капитанской каюты, я увидел большие каменные утесы Скай с правой стороны, а немного далее за кормою — остров Ром.

XI. Капитан признает себя побежденным

Алан и я сели завтракать около шести часов утра. Пол был усыпан битым стеклом и покрыт отвратительным кровавым месивом, лишившим меня аппетита. Во всем другом положение наше было не только приятное, но и веселое: мы выгнали капитана и его помощников из их собственной каюты и получили в свое распоряжение все спиртные напитки на судне и самую изысканную пищу, например, пикули и лучший сорт сухарей. Этого одного было бы достаточно, чтобы привести нас в хорошее настроение, но самым лучшим

оказалось то, что два таких любителя выпить, каких только когда-либо породила Шотландия (за смертью мистера Шуэна), сидели теперь взаперти в передней части судна, обреченные довольствоваться тем, что они более всего ненавидели, — холодной водой.

— Поверь мне, — сказал Алан, — мы вскоре услышим о них. Человек может воздерживаться от сражения, но не может воздержаться от бутылки.

Мы отлично проводили время вместе. Алан был очень ласков со мной и, взяв со стола нож, отрезал мне одну из серебряных пуговиц своего мундира.



— Я получил их, — сказал он, — от моего отца, Дункана Стюарта. Я дарю тебе одну из них на память о том, что произошло в эту ночь. Куда бы ты ни пошел и где бы ни показал эту пуговицу, друзья Алана Брека соберутся вокруг тебя.

Он сказал это так, точно был Карлом Великим и повелевал целыми армиями. И, несмотря на мое восхищение его мужеством, я всегда боялся улыбнуться его хвастовству; говорю «боялся»,

потому что если бы я не удерживался от смеха, то могла бы вспыхнуть такая ссора, что и подумать страшно.

Как только мы кончили завтрак, он стал рыться в шкафу у капитана, пока не нашел платяной щетки. Затем, сняв мундир, начал осматривать его и счищать пятна так тщательно, как, по-моему, могли делать только женщины. Правда, у него не было другого костюма; кроме того, говорил он, его платье принадлежало королю, а потому и ухаживать за ним следовало по-королевски.

Когда я увидел, как аккуратно он выдергивал ниточки в том месте, где была отрезана пуговица, я оценил дороже его подарок.

Он еще был погружен в свое занятие, когда с палубы нас окликнул мистер Райэч и попросил нас вступить в переговоры. Я пролез через люк и сел на краю его с пистолетом в руке. У меня было смелое выражение лица, хотя в глубине души я боялся битого стекла. Окликнув и его со своей стороны, я попросил Райэча говорить. Он подошел к капитанской каюте и встал на веревки, свернутые кольцом, так что подбородок приходился на одном уровне с крышей, и мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Не думаю, чтобы мистер Райэч был особенно ревностен в бою, поэтому он отделался только ударом в щеку. Все же он упал

духом и выглядел очень усталым, так как провел всю ночь на ногах, то стоя на вахте, то ухаживая за ранеными.

— Скверное дело, — сказал он наконец, качая головой.

— Мы этого не хотели, — заметил я.

— Капитан, — продолжал он, — желал бы поговорить с твоим другом. Они могли бы говорить через окно.

— А как мы узнаем, не задумал ли он нам подстроить ловушку? — спросил я.

— Ничего такого он не задумал, Давид, — отвечал мистер Райэч, — а если бы и задумал, то, сказать тебе правду, мы не могли бы повести за собой матросов.

— Так ли это? — спросил я.

— Скажу тебе больше — сказал он, — не только матросов, но и меня. Я боюсь, Дэви. — И он улыбнулся мне. — Нет, — добавил он, — все, чего мы желаем, — это отделаться от него.

После того как я посоветовался с Аланом, согласие на переговоры было дано и подкреплено честным словом с обеих сторон. Но этим для мистера Райэча дело не кончилось: он стал так настойчиво просить водки, напоминая о своей прежней доброте ко мне, что я под конец дал ему чарку в четверть пинты. Часть ее он выпил, а остальное отнес вниз па палубу, вероятно чтобы

поделиться со своим начальником.

Вскоре затем капитан подошел, как мы уговорились, к одному из окон и стал там на дожде, с рукою на перевязи. Он был угрюм и бледен и казался таким постаревшим, что совесть упрекнула меня за то, что я стрелял в него.

Алан сразу направил пистолет ему в лицо.

— Уберите пистолет! — сказал капитан. — Разве я не дал вам слова, сэр? Или вы желаете оскорбить меня?

— Капитан, — ответил Алан, — я боюсь, что вы легко нарушаете ваше слово. Вчера вечером вы торговались, как уличная торговка, потом дали мне слово и в подтверждение протянули руку, но вы отлично знаете, чем это кончилось! Будь проклято ваше слово! — прибавил он.

— Хорошо, сэр, — сказал капитан, — ваша брань ни к чему хорошему не приведет. (Надо сознаться, что сам капитан никогда не бранился.) Но мне надо поговорить с вами о другом, — продолжал он с горечью. — Вы изрядно попортили мой бриг; у меня недостаточно людей для управления им; мой первый помощник, которого вы пронзили своей шпагой, умер, не произнеся ни слова, а без него мне трудно обойтись. Мне больше ничего не остается, как вернуться в порт Глазго за экипажем, и там вы найдете людей, которые сумеют поговорить с вами лучше моего.

— Да, — сказал Алан. — Клянусь честью, я с ними поговорю! Если в этом городе есть хоть один человек, говорящий по-английски, я расскажу ему интересную историю. Пятнадцать просмоленных матросов — с одной стороны, и один человек с полуребенком — с другой! Какое жалкое зрелище!

Хозизен покраснел.

— Нет, — продолжал Алан, — это не годится. Вы должны высадить меня там, где мы условились.

— Но, — отвечал Хозизен, — мой старший помощник умер, и вы сами знаете, каким образом. Больше никто из нас не знаком с берегом, сэр, а этот берег очень опасен для судов.

— Предоставляю вам выбирать, — сказал Алан. — Высадите меня на сушу в Аппине или в Ардгуре, в Морвепе или в Арисэге, или в Мораре — короче, везде, где хотите, не дальше тридцати миль от моей родины, исключая страны Кемпбеллов.⁹ Это обширная мишень. Если вы не попадете в нее, то, значит, вы в мореплавании так же слабы, как и в бою. Мои бедные земляки переезжают в своих плоскодонках с острова на остров во всякую погоду и даже ночью, если вы желаете знать.

— Плоскодонка не корабль, сэр, — отвечал

⁹ Кемпбеллы — имя шотландского рода, который стоял на стороне короля Георга

капитан, — она не сидит так глубоко.

— Что же, едем в Глазго, если хотите! — сказал Алан. — Мы, по крайней мере, посмеемся над вами.

— Мне не до смеха, — сказал капитан. — И все это будет стоить денег, сэр.

— Прекрасно, сэр, — отвечал Алан, — я не беру своих слов назад. Тридцать гиней, если высадите меня на берег; шестьдесят, если доставите меня в Линни-Лох.

— Но посмотрите, сэр, где мы находимся, ведь мы только в нескольких часах от Арднамуркана, — сказал Хозизен. — Дайте мне шестьдесят, и я высажу вас там.

— И я должен изнашивать обувь и подвергаться опасности быть схваченным красными мундирами, чтобы угодить вам? — кричал Алан. — Нет, сэр, если вы хотите получить шестьдесят гиней, то заработайте их и высадите меня в моей стране.

— Это значит рисковать бригом, сэр, — сказал капитан, — и с ним вместе собственную жизнь.

— Как хотите, — ответил Алан.

— Сумели бы вы повести нас? — спросил капитан с нахмуренным видом.

— Сомневаюсь, — сказал Алан. — Я скорее боец, как вы сами видели, чем моряк. Но меня часто

подбирали и высаживали на этом берегу, и я немного знаю его.

Капитан покачал головой, все еще хмурясь.

— Не потеряй я в этом несчастном плавании так много денег, я бы скорее увидел вас на виселице, чем рискнул бы своим бригом, сэр. Но пусть будет по-вашему. Как только подует боковой ветер — а он должен подуть, или я глубоко ошибаюсь, — я воспользуюсь им. Но есть еще одна вещь. Мы можем повстречать королевское судно, которое возьмет нас на abordаж без всякой нашей вины: вдоль этого берега плавают много крейсеров. Вы сами знаете, для кого... Сэр, на этот случай оставьте мне деньги.

— Капитан, — сказал Аллн. — если вы увидите вымпел, то ваше дело убегать. А теперь, зная, что вам на носу не хватает водки, я предлагаю обмен: бутылку водки взамен двух ведер воды.

Последняя статья переговоров была в точности выполнена обеими сторонами, так как мы с Аланом смогли наконец вымыть капитанскую каюту и отделаться от воспоминаний об убитых нами, а капитан и мистер Райэч тоже были по-своему счастливы, так как получили возможность снова выпить.

ХII. Я слышу о Красной Лисице

Прежде чем мы покончили с чисткой каюты, с северо-востока подул ветер; он прогнал дождь, и выглянуло солнце.

Тут я должен сделать отступление, а читателю следовало бы взглянуть на карту. В тот день, когда стоял туман и мы разбили лодку Алана, бриг проходил через Малый Минч. На рассвете после схватки мы спокойно стояли к востоку от острова Канна, между ним и островом Эриска, находящимся в цепи Лонг-Эйландских островов. Прямой путь отсюда в Линни-Лох лежал проливами Соунд-оф-малл. Но у капитана не было карты; он боялся пустить свой бриг глубоко между островами, и так как ветер был благоприятный, то предпочел обойти Тайри с запада и выйти у южного берега большого острова Малл.

Ветер весь день дул в том же направлении и скорее усиливался, чем ослабевал, а к полудню из-за наружных Гебридских островов появились сильные волны. Наш курс — мы хотели обойти кругом внутренние острова — лежал на юго-запад, так что сначала эти волны ударили нам в борта, и нас очень кидало. Но с наступлением ночи, когда мы уже обогнули конец Тайри и стали направляться к востоку, волны попадали прямо на корму.

Между тем первую часть дня, до появления волны, мы провели очень приятно; при ярком солнечном свете мы обошли множество скалистых

островков. Сидя в каюте с открытыми дверьми с обеих сторон, так как ветер Дул прямо в корму, мы с Аланом выкурили одну или две трубки капитанского хорошего табаку и в то же время рассказывали друг другу наши истории. Это было для меня тем более важно, что давало возможность немного ознакомиться с горной Шотландией, где мне вскоре пришлось высадиться. В те дни, такие близкие к великому восстанию, всякий, шедший через поросшие вереском шотландские горы, должен был знать свой путь и опасность, которой подвергался.

Я первый показал пример, рассказав о своем несчастье, и Алан слушал меня с большим добродушием. Только когда я упомянул моего доброго друга, священника мистера Кемпбелла, Алан вспылил и воскликнул, что он ненавидит всех, носящих это имя.

— Отчего же? — сказал я. — Это такой человек, которому вы можете с гордостью подать руку.

— Я ничего никогда не дал бы Кемпбеллу, — ответил он, — кроме свинцовой пули. Я охотно стал бы преследовать весь этот род, как тетеревов. Даже умирая, все-таки дополз бы до окна своей комнаты, чтобы выстрелить в одного из них.

— Что у вас вышло с Кемпбеллами, Алан? — воскликнул я.

— Вот что... — ответил он. — Вы отлично знаете, что я Стюарт из Аппина, а Кемпбеллы долгое время беспокоили и разоряли моих родичей: они отнимали у нас земли обманом, но мечом никогда! — закричал он громко и ударил кулаком по столу. Но я не обратил на это особенного внимания, зная, что так обыкновенно говорят побежденные. — Было еще многое, — продолжал он, — и все в том же роде: лживые слова, поддельные бумаги, выходки, достойные торгашей, и все под видом законности, что еще больше возмущает порядочного человека.

— Вы так расточительны на пуговицы, — сказал я, — не думаю, чтобы вы могли быть хорошим судьей в делах.

— А, — ответил он, снова улыбнувшись, — расточительность я унаследовал от того же человека, что и пуговицы, — то был отец мой Дункан Стюарт, вечная ему память! Он был лучшим человеком в нашем роду и лучшим солдатом в горной Шотландии, а это то же самое, что в целом мире! Уж мне-то хорошо известно: ведь он сам учил меня. Отец служил в Черной страже, когда ее впервые собрали. За ним, как и за другими джентльменами, ходил паж, который нес его винтовку во время марша. Королю, очевидно, захотелось посмотреть на шотландское фехтование: моего отца и троих других как лучших

фехтовальщиков выбрали и послали в Лондон. Там, во дворце, два часа подряд они показывали свое искусство королю Георгу, королеве Каролине, Кумберленду и другим, имена которых я не помню. Когда они кончили, король, хотя и был узурпатором, любезно поговорил с ними и дал каждому по три гинеи. По выходе из дворца им пришлось пройти мимо домика привратника. Моему отцу пришло в голову, что он, вероятно, первый джентльмен из горной Шотландии, проходивший через эти ворота, и потому следовало бы дать бедному привратнику подобающее понятие об его достоинстве и сунуть ему в руку полученные от короля три гинеи, точно то было его всегдашнее обыкновение. Трое его спутников сделали то же самое. Таким образом, они вышли на улицу, не оставив себе ни гроша за труды. Одни говорят, что такой-то первый одарил королевского привратника, другие называют другого, но верно то, что это был Дункан Стюарт, и я готов доказать это с помощью шпаги или пистолета. И это был мой отец, да благословит его бог!

— Я думаю, что такой человек не мог оставить вам большого наследства? — спросил я.

— Это верно, — сказал Алан, — он оставил мне пару штанов и больше почти ничего. Вот почему мне пришлось поступить на военную службу. Это всегда будет пятном на моей совести и

сыграет скверную шутку со мной, если я попаду в руки красных мундиров.

— Как, — воскликнул я, — вы служили в английской армии?

— Да, — сказал Алан, — но я дезертировал на сторону правого дела при Престонпансе, и в этом еще есть некоторое утешение.¹⁰

Я с трудом мог разделить его взгляд, считая дезертирство непростительным грехом для честного человека. Но, несмотря на свою молодость, я не был так глуп, чтобы высказать вслух свое мнение.

— Боже мой, — воскликнул я, — ведь за это полагается смерть!

— Да, — ответил он, — если они поймают меня, то исповедь моя будет коротка, а веревка длинна! Но у меня в кармане патент на чин, выданный мне французским королем, и это, может быть, защитит меня.

— Очень сомневаюсь, — сказал я.

— Я сам сомневаюсь, — отвечал Алан.

— Боже мой, — воскликнул я, — если вы осужденный мятежник, дезертир и находитесь на службе у французского короля, то что заставляет

¹⁰ В битве при Престонпансе в 1745 году шотландцы разбили правительственные английские войска

вас возвращаться сюда? Вы искушаете провидение.

— Ничего, — сказал Алан, — я возвращался сюда каждый год после сорок шестого.

— Что же влечет вас сюда? — спросил я.

— Видишь ли, я тоскую по друзьям и по родине, — ответил он. — Франция — прекрасная страна, что и говорить, но я тоскую по вереску и по оленям. Затем у меня тут небольшое дело: я набираю юношей на службу французскому королю — рекрутов, понимаешь? Это приносит немного денег. Но главным образом я езжу по делу моего вождя, Ардшиля.

— Мне казалось, что вашего вождя зовут Аппин, — сказал я.

— Да, но Ардшиль — глава клана, — отвечал он, хотя его слова мало что мне объяснили. — Видишь ли, Давид, он царской крови, и носит имя королей, и всю свою жизнь прожил знатным человеком, а теперь его довели до того, что он должен жить во Франции, как бедное частное лицо. Я своими глазами видел, как он, которому стоило только свистнуть, чтобы собрать сорок вооруженных ратников, покупал на рынке масло и нес его домой в капустном листе. Это не только тяжело, но и позорно для нашей семьи и всего клана. А тут его дети, надежда Аппина, которых в той дальней стране надо обучать разным наукам и умению владеть оружием. Арендаторы Аппина

должны платить подать королю Георгу. Но сегодня они непоколебимо верны своему вождю, и благодаря этой любви, некоторому нажиму и кое-каким угрозам бедный народ сколачивает вторую подать для Ардшиля. А я, Давид, доставляю ее! — И он ударил по своему поясу так, что гиней зазвенели.

— Они платят две подати? — закричал я.

— Две, Давид, — сказал он.

— Как, две арендные платы? — повторил я.

— Да, Давид, — сказал он. — Я рассказывал капиталу другое, но это правда. Меня даже удивляет, как мало давления пришлось на них оказать. Но все это дело моего славного родственника и друга моего отца, Джемса Глэнского, то есть Джемса Стюарта, единокровного брата Ардшиля. Он собирает деньги и распоряжается ими.

Тут я впервые услышал имя Джемса Стюарта, который впоследствии стал знаменитым, когда его вешали. Но тогда я на это не обратил внимания: мои мысли были заняты щедростью бедных гайлэндеров.

— Это благородно! — воскликнул я. — Я виг или почти виг, но все-таки считаю это благородным.

— Да, — сказал Алан, — ты виг, но джентльмен, оттого ты и думаешь так. Если бы ты

принадлежал к проклятому роду Кемпбеллов, ты бы скрежетал зубами, слыша это. Если бы ты был Красной Лисицей...

При этом имени он стиснул зубы и замолчал. Я никогда не видал такого свирепого лица, какое было у Алана при упоминании о Красной Лисице.

— А кто это — Красная Лисица? — спросил я боязливо, но все-таки с любопытством.

— Кто он такой? — закричал Алан. — Хорошо, я скажу тебе. Когда кланы были разбиты под Каллоденом и погибло правое дело, а лошади выше копыт бродили в крови лучших людей севера, Ардшилю пришлось бежать, как оленю, по горам с женой и детьми. Трудное было время, прежде чем мы усадили его на корабль. И пока он еще прятался тут, в вереске, английские негодяи, не будучи в силах лишить его жизни, лишили его прав. Они отняли у него власть и землю, они вырвали оружие из рук членов его клана, владевших им уже тридцать столетий, отняли у них даже одежду, так что теперь считается грехом носить клетчатый плед, и человек можег попасть в тюрьму за то, что на нем шотландская юбка. Одного они не могли уничтожить — любви к своему вождю. Эти гиней служат доказательством. И вот в какое дело вмешивается Кемпбелл, рыжеволосый Колин из Гленура...

— Так вы его называете Красной Лисицей? —

спросил я.

— Попадись он мне только в руки! — закричал яростно Алан. — Да, этот самый. Он вмешивается в эту историю и получает от короля Георга бумаги, но которым становится так называемым королевским агентом в Аппине. Вначале он остерегается и находится в приятельских отношениях с Шимусом, то есть с Джемсом Глэнским, агентом моего вождя. Но мало-помалу до ушей его доходит то, о чем я тебе только что рассказал: как бедные аппинские фермеры, огородники и стрелки отдают свои последние плоды, чтобы собрать вторую подать и отослать ее за море — Ардшилю и его бедным детям. Как ты назвал это, когда я рассказывал тебе?

— Я назвал это благородным, Алан, — сказал я.

— А ты немногим лучше обыкновенного вига! — воскликнул Алан. — Но когда это дошло до Колина Роя, то черная кровь Кемпбеллов закипела в нем. Он сидел за вином и скрежетал зубами. Как, Стюарт получал кусок хлеба, и он не мог помешать этому? Красная Лисица, если ты когда-нибудь попадешься мне на расстоянии выстрела, пусть сжалится над тобой господь! — Алан остановился, чтобы переварить свой гнев. — Что же он делает, Давид? Он объявляет, что все фермы сдаются в аренду. Он думает о своей черной

душе: «Я скоро найду других арендаторов, которые заплатят больше, чем все эти Стюарты, и Макколи, и Макробы (это все имена членов моего клана, Давид) и тогда, — думает он, — Ардшилю придется собирать милостыню на большой дороге во Франции».

— Ну, — спросил я, — и что же произошло?

Алан бросил трубку, которая давно уже потухла, и положил руки на колени.

— Да, — сказал он, — этого ты никогда не угадаешь! Эти самые Стюарты, Макколи и Макробы, которым приходилось платить две арендные платы: одну королю Георгу — по принуждению, а другую Ардшилю — добровольно, предложили ему лучшую цену, чем какой-либо Кемпбелл из всей обширной Шотландии. А между тем он посылал за арендаторами далеко, до берегов Клайда и до Эдинбурга, приказывал их разыскивать и уговаривать прийти, чтобы заставить Стюарта умереть с голоду и доставить удовольствие Кемпбеллу!

— Да, Алан, — сказал я, — это странная, но хорошая история. И хотя я и виг, но рад, что он был побит.

— Побит? — переспросил Алан. — Значит, ты мало знаешь Кемпбеллов, и в особенности Красную Лисицу. Побить его? Этого не будет, пока кровь его не оросит холмов! Но, Давид, если наступит день,

когда у меня будет время для охоты, то все вересковые заросли Шотландии не укроют его от моей мести!

— Алан, — сказал я, — это не по-христиански, да и не умно давать волю своему гневу. Ваши слова не причинят никакого вреда человеку, которого вы называете Лисицей, а вам самим не принесут добра. Расскажите мне все, просто все до конца. Что он сделал потом?

— Это ты правильно заметил, Давид, — сказал Алан. — Правда, что это, к сожалению, не принесет ему вреда! И если бы не твои слова о христианстве, о котором я совершенно другого мнения — иначе я не был бы христианином, — то я во всем с тобой согласен.

— Каково бы ни было ваше мнение, — ответил я, — всем известно, что христианство запрещает мстить.

— Да, — возразил Алан, — сразу же видно, что тебя учил Кемпбелл! Свет был бы очень удобен для них и подобных им, если бы не существовало молодцов с оружием за кустами вереска! Но это к делу не идет. Вот что он сделал...

— Да, — сказал я, — расскажите это.

— Итак, Давид, — продолжал он, — не будучи в состоянии отделаться от верных простолюдинов честным путем, он поклялся, что отделается от них другими средствами. Ардшиль

должен умереть с голоду — вот чего он добивался. А так как те, что кормили изгнанника, не хотели отказаться от аренды, то он решил прогнать их правдой и неправдой. Для этого он послал за стряпчими, бумагами и солдатами. И наш добродушный народ должен был уложить свои пожитки и убираться из домов своих отцов, прочь из страны, где все они были вскормлены и вспоены и где играли еще детьми. И кто же наследует им? Босоногие нищие! Королю Георгу остается только вздыхать о своей аренде. Он может обойтись и без нее и сократить свои потребности — какое дело Рыжему Колину? Его желание — повредить Ардшилю. Если он сможет унести пищу со стола моего вождя или отобрать последнюю игрушку из рук его детей, он отправится к себе домой, воспевая Гленур!

— Дайте мне сказать слово, — вступился я. — Будьте уверены, что если податей собирают меньше, то, значит, правительство тоже в этом замешано. Это вина не Кемпбелла, а правительства. И если бы завтра убили этого Кемпбелла, какой был бы толк? На его место немедленно назначат другого агента.

— Ты славный малый в сражении, — сказал Алан, — но в тебе говорит кровь вигов!

Он был со мной довольно ласков, но в его презрительном тоне чувствовалось столько гнева,

что я счел за лучшее переменить разговор. Я выразил свое удивление тому, что в то время, как горная Шотландия была наводнена войсками и охранялась как осажденная крепость, человек в его положении имел возможность ездить взад и вперед, не боясь ареста.

— Это легче, чем ты думаешь, — сказал Алан. — Обнаженные склоны холмов все равно что сплошная дорога: если в одном месте стоит караул, обходи другой стороной. Кроме того, много помогает вереск. И везде есть дружеские дома, хлевы и стога сена. Да, кроме того, когда говорят, что страна покрыта солдатами, — это не более как простая фраза. Солдат покрывает ровно столько места, сколько прикрывают подошвы его сапог. Однажды я удил рыбу в то время, как на противоположном склоне стоял часовой, и поймал прекрасную форель; а в другой раз сидел в кустах вереска в шести шагах от другого солдата и по его свисту научился славной песенке. Вот этой, — сказал он и просвистел мне мотив. — А кроме того, — продолжал он, — теперь не так скверно, как было в сорок шестом году. Теперь горные страны умиротворены, как говорят красные мундиры. Не мудрено, если во всей стране, от Кантейра до мыса Резса, не осталось ни шпаги, ни ружья, кроме тех, которые осторожные люди запрятали в солому на крышах! Но мне хотелось бы

знать, Давид, как долго это будет продолжаться. Можно подумать, что скоро конец, раз такие люди, как Ардшиль, находятся в изгнании, а люди, подобные Красной Лисице, сидят, попивая вино, и угнетают бедных. Но трудно решить, что народ может выдержать, а чего — нет. Иначе, почему это Рыжий Колин разезжает по моей бедной родной стране и не находится храброго малого, чтобы всадить в него пулю?

С этими словами Алан погрузился в задумчивость и долгое время сидел грустный и молчаливый.

К характеристике моего друга прибавлю еще, что он был очень искусен в игре на всевозможных инструментах, но в особенности на флейте; что он был известным поэтом на своем родном наречии; прочел много книг, как французских, так и английских; был метким стрелком, хорошим рыболовом, отлично владел как кинжалом, так и шпагой. Его недостатки были сразу заметны, и я уже узнал их все. Худшим из них была ребяческая склонность обижаться и набиваться на ссору. Со мной он сдерживался, помня о том, как мы вместе боролись в капитанской каюте, но потому ли, что я хорошо защищался, или потому, что я был свидетелем его собственной доблести — этого я не могу сказать. Вообще же он очень любил храбрость в других, но более всего восхищался ею в Алане

Бреке.

XIII. Гибель брига

Был уже вечер. Стемнело настолько, насколько вообще темнеет в это время года, то есть было еще довольно светло, когда Хозизен просунул голову в дверь капитанской каюты.

— Выходите, — сказал он, — и посмотрите, не сможете ли вы управлять судном.

— Это опять какой-нибудь из ваших фокусов? — спросил Алан.

— До фокусов ли мне теперь! — воскликнул капитан. — У меня есть другое, о чем нужно думать: бриг в опасности!

По его тревожному виду и более всего по резкому тону, которым он упомянул о бригае, нам стало ясно, что он не хитрит. И потому мы оба, не особенно опасаясь предательства, вышли на палубу.

Небо было ясно, но дул сильный, холодный ветер; дневной свет еще не совсем погас, и в то же время ярко светил почти полный месяц. Бриг шел на бейдевинд, чтобы обойти юго-западный угол острова Малл.

Горы этого острова (выше всех Бен-Мор, с туманной шапкой на вершине) виднелись целиком над дугой бакборта. Хотя это направление не было благоприятно для «Конвента», он несся со

страшной быстротой, то ныряя, то взлетая, преследуемый западной волной.

Ночь все-таки была вовсе не такая дурная для плавания в море, и я уже начинал удивляться, что так беспокоило капитана. Но вот бриг внезапно поднялся на высокую волну, и я увидел, что из освещенного луной моря точно бил фонтан, а вслед за этим мы слышали глухой шум и рев.

— Как вы думаете, что это такое? — спросил мрачно капитан.

— Море, разбивающееся о риф, — сказал Алан. — Теперь вы знаете, где он находится. Что же вам еще нужно?

— Да, — отвечал Хозизен, — если бы он был единственным...

И действительно, пока он говорил, появился другой фонтан, несколько дальше, к югу.

— Вот, — воскликнул Хозизен, — вы сами видите! Если бы я знал об этих рифах, если б у меня была морская карта или если бы остался жив Шоуэн, шестьдесят гиней не заставили бы меня рисковать моим бригом на таких камнях! Но ведь вы, сэр, хотели вести нас. Что вы на это скажете?

— Я думаю, — отвечал Алан, — что это должны быть так называемые Торрэнские скалы.

— Много ли их? — спросил капитан.

— Право, сэр, я не лоцман, — сказал Алан, — но мне кажется, что они тянутся миль на десять.

Мистер Райэч и капитан переглянулись.

— Я полагаю, что между ними есть проход! — заметил капитан.

— Без сомнения, — сказал Алан. — Но где? Впрочем, я как будто припоминаю, что проход свободнее около берега.

— Да? — сказал Хозизен. — Нам тогда придется держать круто к ветру, мистер Райэч, и подойти настолько близко к краю Малла, насколько это возможно. Хотя и тогда еще земля будет закрывать нас от ветра, а эти камни останутся на подветренной стороне. Что же, раз мы уж попали сюда, приходится продолжать путь.

С этими словами он отдал приказание рулевому и послал Райэча на фок-мачту. На палубе находилось всего пять человек, считая начальство; больше не было годных — или, по крайней мере, годных и согласных — исполнять свое дело людей, да и то двое из них были ранены. Как я говорил, на долю мистера Райэча выпало лезть на мачту, и он, сидя там, криком возвещал обо всем, что видел.

— Море к югу загромождено! — кричал он.

Затем, через несколько времени:

— Оно, кажется, свободнее у берега!

— Ну, сэр, — сказал Хозизен Алану, — попробуем ваш путь. Но думаю, что мы с тем же успехом могли бы довериться слепому скрипачу. Дай бог, чтобы вы были правы!

— Дай бог, чтобы я был прав! — ответил Алан. — Я слышал об этом пути. Ну что же, от судьбы не уйдешь.

Как только мы подошли близко к повороту берега, рифы стали попадаться то здесь, то там, на самом нашем пути. И мистер Райэч тогда кричал, чтобы мы переменили курс. Иногда он заявлял слишком поздно: один риф был так близок к наветренной стороне, что, когда на него налетела волна, брызги попали на палубу и промочили нас, как дождь.

В такую светлую ночь мы видели опасность ясно, как днем, и это, пожалуй, было тревожнее всего. Я видел и лицо капитана, стоявшего около рулевого: он переступал с ноги на ногу, дул себе на руки и все время прислушивался, вполне владея собой. Ни он, ни мистер Райэч в сражении не показали себя с хорошей стороны, но я заметил, что в своем деле они были храбры, между тем как Алан, к моему удивлению, сильно побледнел.

— О Давид, — сказал он, — это не та смерть, о которой я мечтаю!

— Как, Алан, — воскликнул я, — неужели вы боитесь?

— Нет, — отвечал он, — но согласись сам, что это неприятный конец.

К этому времени мы, лавируя то с одной, то с другой стороны, чтобы обойти риф, но все-таки

придерживаясь ветра и берега, обошли Айону и стали направляться вдоль Малла. Прибой у поворота берега был очень силен и бросал бриг во все стороны. У руля были поставлены два матроса, а иногда им помогал еще сам Хозизен. Странно было видеть, как трое сильных мужчин наваливались всей тяжестью на румпель, а он, точно живое существо, сопротивлялся и откидывал их назад. Это было бы особенно опасно, если бы море в этом месте не очистилось от подводных скал. Кроме того, мистер Райэч сообщил сверху, что видит впереди совершенно чистую поверхность.

— Вы были правы, — сказал Хозизен Алану. — Вы спасли бриг, сэр, и я припомню это, когда мы будем рассчитывать.

Я верю, что он не только говорил совершенно искренне, но и сдержал бы свое слово: так привязан был он к «Конвенту».

Но это осталось только предположением, так как случилось иначе, чем мы думали.

— Держите немного в сторону, — кричал мистер Райэч, — риф с наветренной стороны!

В ту же минуту прибой подхватил бриг, который повернулся по ветру, как волчок, паруса опустились, и вслед затем судно ударилось о риф с такой силой, что все мы попадали на палубу, а мистера Райэча чуть не стряхнуло с мачты.

В одну минуту я был на ногах. Риф, о который мы ударились, находился близко от юго-западного края Малла, напротив маленького островка, по имени Эррейд, лежавшего плоской и темной массой у бакборта. Иногда волна разбивалась на самой палубе, иногда она только поднимала бриг на риф, так что мы слышали сильный треск.

От страшного шума парусов, свиста ветра, блеска брызг при лунном свете и сознания опасности моя голова, должно быть, совсем закружилась, так что я с трудом понимал окружающее. Я видел, что мистер Райэч и матросы возились с лодкой, и почти бессознательно побежал помогать им. Но только что я принялся за работу, как в голове моей прояснилось. Это было нелегким делом: лодка, находившаяся на середине судна, была набита цепями, а громадные волны беспрестанно заставляли нас бросать работу и стараться держаться на ногах. Но тем не менее все работали как волы, пока было возможно.

Те из раненых, которые могли двигаться, вышли из переднего люка и начали нам помогать, тогда как остальные, беспомощно лежавшие на койках, терзали меня воплями и мольбами о спасении.

Капитан не принимал участия в работе. Казалось, он лишился рассудка. Он стоял, держась за ванты, разговаривая сам с собой, и испускал

громкие стоны, когда корабль колотился о скалы. Его бриг был ему дорог, как жена и дети; он мог ежедневно наблюдать жестокое обращение с бедным Рэнсомом, но когда дело шло о бригае, он, казалось, страдал вместе с ним.

За все время, что мы готовили лодку, я припоминаю только одно: глядя на берег, я спросил Алана, что это за место, а он отвечал, что хуже его ничего не может быть, так как оно принадлежит Кемпбеллам.

Мы поставили одного из раненых наблюдать за волнами и предупреждать нас об опасности. И лодка была уже почти готова к спуску на воду, как вдруг он резко закричал: «Держитесь, ради бога!» По его голосу мы поняли, что случилось нечто не совсем обыкновенное. И действительно, огромная волна подняла бриг и перевернула его на киле. Не знаю, слишком ли поздно я услышал крик или держался слишком слабо, но при внезапном крене судна меня перебросило через борт прямо в море.



Я начал тонуть и наглотался воды, затем выплыл и увидел сияние месяца, затем стал тонуть снова. Говорят, что на третий раз человек тонет без возврата. Значит, я не такой, как другие, потому что не мог бы сосчитать, сколько раз я тонул и снова выплывал. Меня то швыряли из стороны в сторону, то колотили и захлестывали волны. Все это держало меня в таком напряжении, что я не чувствовал ни отчаяния, ни испуга.

Вскоре я заметил, что держусь за деревянный брус, который немного помогает мне плыть, и вслед за тем неожиданно очутился в спокойной воде и стал приходить в себя.

Оказалось, что я ухватился за запасной рей, и теперь с удивлением заметил, как далеко я отплыл от брига. Я все-таки закричал, но, очевидно, голос мой не мог уже достигнуть судна. Бриг все еще держался, но я не мог видеть, удалось ли спустить лодку или нет, так как был слишком далеко.

Окликая бриг, я заметил, что между ним и мною была полоса воды, куда не попадали большие волны: она вся как бы кипела при лунном свете, поднимаясь спиралью и рассыпаясь брызгами. Временами вся эта полоса устремлялась в одну сторону, как хвост живой змеи; иногда на мгновение все пропадало, а затем закипало снова. Я не имел ни малейшего представления, что бы это могло быть, и мое неведение увеличивало мой страх. Но теперь я знаю, что, вероятно, то было морское течение, которое, жестоко швыряя, отнесло меня так далеко и, наконец, как бы устав от игры, бросило вместе с запасным реем ближе к берегу.

Я лежал теперь на воде совершенно спокойно и чувствовал, что если и не утону, то умру от холода. Берега Эррейда были близко: при свете луны я мог различить кусты вереска и слои сланца на скалах.

«Ну, — подумал я, — неужели я не смогу добраться туда?»

Я не умел хорошо плавать, так как воды Иссена в наших местах были не глубоки, но, держась обеими руками за рей и болтая обеими ногами, я все-таки скоро почувствовал, что двигаюсь вперед. Это была трудная и страшно медленная работа. Приблизительно через час я, брыкаясь и плескаясь, добрался между двумя косами до песчаной бухты, окруженной низкими холмами.

Вода тут была совершенно спокойной, и не было заметно никакого прибоя. Месяц светил ясно, и я подумал, что никогда не видал более пустынного и безлюдного места. Но все же это была суша. Когда наконец стало так мелко, что я мог бросить рей и дойти пешком до берега, я не знаю, что чувствовал сильнее — усталость или благодарность судьбе за спасение. Вероятно, и то и другое в равной степени. Знаю только одно: я никогда еще так не уставал и не воссылал такой горячей благодарности богу.

XIV. Островок

С моим выходом на берег начинается самая злополучная часть моих приключений. Было половина первого ночи, и хотя горы и защищали от

ветра, но все-таки ночь была холодная. Боясь замерзнуть, если я останусь неподвижным, я снял сапоги и, несмотря на усталость, стал ходить босиком взад и вперед по песку, ударяя себя то в грудь, то по плечам в надежде согреться. Не слышно было ни голоса человека, ни рева скота. Ни один петух не кричал, хотя это было время их первого пробуждения. Только прибой разбивался вдали, напоминая мне об опасности, пережитой мною и моими спутниками. Прогулка по берегу в такой ранний час, в таком пустынном месте вселила в меня нечто вроде страха.

Как только начало светать, я надел сапоги и взобрался на холм. Это был самый неприятный подъем в моей жизни: я беспрестанно падал между большими глыбами гранита или же перепрыгивал с одной на другую. Когда я добрался до вершины, уже совсем рассвело. Незаметно было следов ни лодки, ни брига, который, вероятно, снялся с рифа и затонул. Не было видно ни единого паруса на океане, и, насколько я мог разглядеть, на суше тоже не было ни людей, ни жилищ.

Мне страшно было подумать о судьбе моих товарищей, глядя на эту пустыню. Я и без того был измучен мокрой одеждой, усталостью и голодом, который я начал испытывать. Я пошел к востоку вдоль южного берега, надеясь найти дом, где бы я мог обогреться и, может быть, услышать про тех,

кого потерял. Во всяком случае, я надеялся, что взойдет солнце и высушит мое платье.

В скором времени меня остановил залив, или излучина моря, который, казалось, вдавался довольно далеко в сушу. И так как я не мог переправиться через него, то по необходимости должен был переменить направление и обойти залив. Переход был очень труден: не только весь Эррсид, но и ближайшая часть Малла, называемая Росс, представляли какой-то хаос гранитных скал с растущими между ними кустами вереска. Сначала залив все суживался, как я и ожидал, но вдруг, к моему удивлению, он стал снова расширяться. Я долго ломал над этим голову, все еще не догадываясь о правде; наконец, дойдя до подъема, я понял, что выброшен на маленький бесплодный остров и со всех сторон отрезан водой от мира.

Я ждал солнца, надеясь, что оно согреет и обсушит меня. Но на рассвете среди густого тумана пошел дождь, так что положение мое стало отчаянным.

Стоя на дожде и дрожа от холода, я не знал, что делать, пока мне не пришло в голову, что залив можно перейти вброд. Я вернулся к самому узкому месту и вошел в воду. Но в трех ядрах от берега я погрузился в нее с головой и остался жив только благодаря божьей милости, а не собственной осторожности. Моя одежда не стала более мокрой

— это вряд ли было возможно, — но мне сделалось еще холоднее после этой неудачи. Опять потеряв надежду, я почувствовал себя еще более опечаленным.

Вдруг я вспомнил о рее. Он вынес меня из течения и, вероятно, поможет мне благополучно перебраться через этот небольшой спокойный заливчик. При этой мысли я поспешно отправился на край островка с целью найти рей и принести сюда. Это было во всех отношениях скучное путешествие, и если бы меня не поддерживала надежда, я бы бросился на землю и отказался идти дальше. От морской ли воды или от начинающейся лихорадки я мучился жаждой и должен был по пути останавливаться и пить болотистую воду из луж.

Наконец, еле живой, я дошел до бухты. Сперва я подумал, что рей уплыл немного дальше того места, где я оставил его, и в третий раз вошел в воду. Гладкий и плотный песок постепенно опускался, так что я мог идти до тех пор, пока вода не дошла мне до горла и маленькие волны не стали плескаться в лицо. Но на этой глубине ноги отказались служить мне, так что я не решился идти далее. Рей же спокойно качался передо мной на расстоянии двадцати футов.

Я терпеливо переносил все до этого последнего разочарования, но тут, выйдя на берег, я бросился на песок и заплакал.

Воспоминание о времени, проведенном на острове, до сих пор для меня так ужасно, что я потороплюсь покончить с ним. Во всех книгах, где я читал о людях, потерпевших крушение, карманы их оказывались набитыми инструментами или, как нарочно, вместе с ними выбрасывало на берег ящик с разными необходимыми вещами. Мое положение было совсем иное. В карманах моих не было ничего, кроме денег и серебряной пуговицы Алана. И так как я рос в стране, далекой от моря, то знаний о нем у меня было так же мало, как и орудий.

Мне известно было, что раковины считаются пригодными для еды, а среди скал на острове я нашел множество плоских раковин, которые с трудом мог оторвать от места, не зная, что при этом нужна только быстрота. Кроме того, были еще маленькие раковины, называвшиеся башенками. Эти два вида моллюсков служили мне единственной пищей. Я съедал их холодными и сырыми и был так голоден, что сначала они показались мне восхитительными.

Может быть, для моллюсков уже прошел сезон или в воде, окружавшей остров, было что-то вредоносное, но, поев их в первый раз, я почувствовал головокружение и тошноту и долгое время пролежал замертво. Вторая проба той же пищи — другой у меня не было — оказалась удачнее и подкрепила мои силы. Но во все время

моего пребывания на острове я не знал, чего ожидать после еды: иногда все сходило благополучно, а иногда начиналась мучительная тошнота, причем я никогда не мог понять, что за раковина так подействовала на меня.

Весь день лил дождь; остров весь вымок, и иа нем нельзя было найти сухого места. Когда я лег спать между двумя глыбами скал, образовавшими как бы крышу, ноги мои очутились в болоте.

На второй день я обошел остров со всех сторон, но нигде не нашел ничего лучшего. Весь он был пустынный и скалистый, не заметно было ничего живого, кроме дичи, убить которую мне было нечем, да чаек, в громадном количестве посещающих нависшие над водой скалы. Излучина, или пролив, отделявшая остров от Росса, на севере расширялся в бухту, а бухта, в свою очередь, переходила в Айонский пролив, окрестности которого я избрал своим местопребыванием.

Для выбора своего я имел веские причины: в этой части острова была хижина вроде будки, где ночевали рыбаки, приезжавшие сюда ловить рыбу. Дерновая крыша совершенно провалилась, так что хижина никуда не годилась и защищала меня меньше, чем скалы. Важнее было то, что здесь в большом количестве можно было найти моллюсков, которыми я питался. Во время отлива я мог сразу набрать их множество, а это, без сомнения, было

большим удобством. Другая причина была еще важнее: я никак не мог привыкнуть к ужасному одиночеству на острове и все оглядывался по сторонам, точно меня преследовали, волнуемый страхом и надеждой увидеть приближение живого существа. Поднявшись немного по склону холма на берегу бухты, я мог увидеть большую старинную церковь и крыши домов обитателей Аноны. А по другую сторону, на низменности Росса, я мог разглядеть, как утром и вечером поднимался дым, по-видимому, из жилища, находившегося в глубине долины.

Дрожа от холода в мокрой одежде, с помутившимся сознанием от одиночества, я подолгу смотрел на этот дым, думая об очаге и обществе людей, пока мое сердце не начинало колотиться. То же действие производили на меня крыши. Хотя вид удобного человеческого жилья еще более усиливал мои страдания, все же он поддерживал во мне надежду, помогая глотать сырые раковины, которые мне скоро опротивели, и спасая от чувства ужаса, которое я испытывал, оставаясь один с птицами под дождем среди мертвых скал у холодного моря.

Я говорю, что это поддерживало во мне надежду, потому что мне казалось тогда невозможным умереть на берегу родной страны, в виду церковной колокольни и дыма людских

жилищ. Но прошел второй день, и хотя я пристально наблюдал, не покажутся ли лодки в проливе и не пройдут ли люди по Россу, помощь все еще не появлялась. Дождь лил по-прежнему. Я лег спать совершенно вымокший и с болью в горле, но найдя хоть в том немного утешения, что пожелал спокойной ночи моим ближайшим соседям на Айоне.

Карл II сказал, что в английском климате человек может проводить вне дома больше дней в году, чем где-либо в другом климате. Сейчас видно, что это сказал король, у которого был дворец и сухая одежда, и что во время бегства из Ворчестера ему, вероятно, больше везло, чем мне на моем несчастном острове. Лето было в разгаре, а дождь шел уже более суток, и погода прояснилась только после полудня на третий день.

Это был день происшествий. Утром я увидел красного оленя, самца, с прекрасно разветвленными рогами, стоявшего под дождем на краю острова. Заметив, что я вылезаю из-под скалы, он побежал рысью на другую сторону. Я подумал, что он, вероятно, переплыл пролив с Росса, хотя и не мог понять, что могло привлечь животное на Эррейд.

Немного позже, когда я лазал за своими раковинами, меня поразил звук гиней, упавшей на скалу прямо передо мной и соскочившей в море. Возвратив мне деньги, матросы не только оставили

себе треть суммы, но и кожаный кошелек моего отца, так что с того дня я носил золото просто в кармане, застегнутом на пуговицу. Теперь я понял, что мой карман разорвался, и поспешно ощупал его рукой. Но это было все равно, что запереть конюшню, когда лошадь уже украли; я уехал с берега Куинзферри приблизительно с пятью — десятью фунтами, теперь же нашел в своем кармане лишь две гинеи и серебряный шиллинг.

Правда, потом я подобрал третью гиню, блестящую на траве. Все вместе составляло три фунта и четыре шиллинга в английской монете. Вот каково было состояние юноши, законного наследника поместья, а теперь умирающего с голода на острове, на самой окраине дикого Гайлэнда.

Мое положение беспокоило меня и в другом отношении. Иа третье утро я действительно был достоин жалости: моя одежда начала гнить; чулки совсем износились, так что икры мои были обнажены; руки распухли оттого, что они были постоянно мокрыми, горло болело, силы исчезали, мне была так противна мерзкая пища, которой я должен был довольствоваться, что меня едва не тошнило от одного ее вида.

Но худшее ждало меня впереди.

На северо-западе Эррейда расположена довольно высокая скала, которую я часто посещал,